

84(2=411.2)

Р 471

РЕШЕТНИКОВ, Ф.М. 18552

НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ

ТЕТУШКА ОПАРИНА.

М 190787 - ко

К ЧИТАТЕЛЯМ.

В настоящее время, когда книжный голод все продолжает расти, развиваясь до катастрофических размеров, когда проснувшиеся народные массы все чаще и чаще обращаются за разъяснением, советом, указанием к книге, приходится искать чрезвычайных мер для удовлетворения небольшим количеством книг воиможно большего количества читателей.

Главной из этих мер борьбы с книжным голодом является открытие библиотек и **ВЫСТАВКИ-ЧИТАЛЬНИ**. Выставки-читальни это — дом отдыха крестьянина и рабочего. Здесь они могут найти все произведения печати, вышедшие в свет во время Пролетарской Диктатуры. Здесь они найдут ценные исторические справки, здесь они смогут ознакомиться с творениями великих умов не только России, но и всего мира.

Были времена, когда многочисленные ценных книг покрывались пылью на полках библиотек отдельных собственников. Эти книги переламывались изнеженной рукой скучающего барина. Рабочему и крестьянину они не были доступны.

Ныне книга стала собственностью народа. Она принадлежит каждому и вместе с тем всем.

Сегодня она просвещает тебя, а завтра она укажет смысл жизни твоему сыну. **БЕРЕГИ КНИГУ, ЧИТАТЕЛЬ!** Храни ее не только для себя, но и для друзей, ищущих в книге красоту и жизненную правду.

Двери **Выставки-Читальни** Уральского Областного Агентства «Центропечати» открыты ежедневно для всех желающих.

На выставке и в каталоге Вы найдете все книги, имеющиеся в читальне. Выберите любую и требуйте у библиотекаря номер, указанный на книге. В общем распоряжении также все периодические издания (журналы, газеты, сборники), издающиеся в Советской России.

УРАЛ АГЕНТСТВО «ЦЕНТРОПЕЧАТИ»

г. Екатеринбург

ТЕЛЕГРАФНАЯ БИРЖА

БИБЛИОТЕКА

ИМЕНИ

Федор Михайлович Решетников.

Федор Михайлович Решетников считается писателем-народником, но, в сущности, его задачи шире, он хочет обрисовать „горе бедного человека“ вообще. Сам мелкий чиновник, он изображает в своих рассказах и очерках жизнь людей, с которыми ему приходилось сталкиваться — крестьян, мещан, сельского духовенства, мелкого чиновничества. В его рассказах мы не найдём ничего придуманного — да он и не способен на выдумку. У других писателей завязка, развязка, сложная интрига — у него „трезвая правда“, кусочек жизни, какой он её знал, „горе бедного человека“. Он не рисует душевных страданий, трагических внутренних переживаний, — его герои терпят самые простые, житейские, материальные горести. Чтобы понять Решетникова, нужно знать его жизнь, нужно помнить, что он сизмальства пригляделся к человеческому горю и нужде, сам долгие годы испытывал лишения, и, уже известным писателем, таил, как заветную мечту, желание иметь свою

ИВ. 1936 г. 49/20 787

К.К.

АРХИВ

8
отдельную комнату, где бы никто не мешал ему заниматься.

Родился Решетников 5 сентября 1841 года, в Екатеринбурге, в семье мелкого почтового чиновника. Детство его было исключительно тяжёлое—рос он не у родителей, так как отец его, горький пьяница, довёл свою жену до того, что она ушла от него в Пермь, где вскоре умерла, оставив не достигшего году сына на руках дяди и тётки. Не злые, по существу, но ожесточённые судьбой, они вымещали своё раздражение на приёмных. Били Решетникова нещадно—и в семье дяди, и в уездном училище, куда он поступил 10 лет от роду, и даже после, когда он достиг, как писатель, громкой известности.

Бойкий и весёлый от природы мальчик, Решетников был доведён таким обращением до ожесточения, и в отместку старался напакостить своим близким: засунуть в квашню или кадку с водой дохлую кошку, ему ровно ничего не стоило; он вскоре стал настоящим бичем для всех окружавших его. В уездном училище Решетников учился плохо. Способности у него были, и он бы мог, как это показало будущее, хорошо учиться, но не хотел серьёзно приняться ни за какую работу, а среди окружающих не было никого, кто бы им занялся, кто сумел бы его заинтересовать науками. Чтобы отделяться от наказаний

за шалости и за неуспешность, Решетников придумал средство—при помощи дяди—почтового чиновника—он даром отправлял письма учителей и таскал им с почты газеты. Это было, однако, замечено, и так как он вместе с газетами брал иногда важные казённые бумаги, его привлекли к судебной ответственности.

По малолетству обвиняемого, наказание ограничилось ссылкой на покаяние в Соликамский монастырь. По возвращении из ссылки, Решетников снова поступил в уездное училище, но теперь отнёсся к своему делу сознательно, стал усердно заниматься и получил по окончании очень хороший аттестат. Из наук ему давалась с трудом математика, но зато он отличался на письменных работах по русскому языку.

Тотчас же по окончании училища, Решетников поступил на службу писцом в уездный суд и долгое время тянул лямку, получая в месяц 3 рубля жалованья, испытывая страшную нужду, пока литературные занятия не дали ему возможности устроиться более или менее сносно. В 1863 году ему удалось перевестись на службу в Петербург. Тут он усердно занялся самообразованием,—недостаточность приобретённых в уездном училище знаний тяготила его всю жизнь,—и одновременно печатал небольшие очерки в газете

„Северная Пчела“. В 1864 году он поместил в журнале „Современник“, редактором которого был поэт Некрасов, повесть „Подлиповцы“, доставившую ему громкую известность. Вскоре он был принят в число постоянных сотрудников „Современника“ и достиг некоторой материальной обеспеченности, но силы его к этому времени были уже подточены. Тяжёлая жизнь, постоянные лишения и огорчения заставили его искать утешения в вине; от последствий злоупотребления спиртными напитками он получил отёк легкого и умер 9 марта 1871 года.

Решетников известен, главным образом, как автор „этнографического очерка“ „Подлиповцы“. Тут он изобразил жизнь—ужасную, звериную жизнь обитателей нашего севера—пермяков, но современники Решетникова не обратили внимания на то, что он описывает быт лишь одного определённого, не вышедшего из первобытного состояния племени, и видели в „Подлиповцах“ русских крестьян вообще.

Два печатаемых в этой книжке рассказа— „Никола Знаменский“ и „Тетушка Опарина“—принадлежат к числу лучших произведений Решетникова. В первом он рисует вышедшего из народа сельского священника, какого можно встретить только в глухих, лесистых местностях нашего северо-востока, отделённых боло-

тами и непроходимыми пустынями от остальной России. Дик Никола, как медведь, на которого он ходит, как первобытный новгородский славянин. Умер прежний Знаменский священник, и потребовали Николу в город, чтобы посвятить в попы. Поехал Никола: „я допреж думал—только на свете и есть один город—Берёзов“. Как ни смешон этот наивный, простой поп, но крестьяне его любили, потому что он был добрый и хороший человек и понимал их нужды.

В „Тетушке Опарине“ Решетников хотел дать тип здорового человека. Опариха—всё: она и мелочной торгаш, и сельский хозяин, и повитуха, и лекарь, и коновал; она помогает деньгами и советами; она ходатай за угнетённых. Её влиянию подчиняются не только крестьяне, но и сельское начальство. Много дела Опарихе, „так много—беда“,—говорит она сама. Не всякому на долю выпадает такая жизнь, да и не у всех такой ум и характер. В Опарихе есть сила подчиняющая—не среда её подчиняет, а она среду, потому что она знает эту среду. Опариха знает, что люди не столько злы, сколько глупы. Потакать Опариха не любит—она строга и в ласку не верует: „Откуда ты это ласки-то найдёшь? Разе меня лаской вспоили, вскормили?“

Но вот злейшего врага Опарихи, Дарью Яковлевну, задумали высечь в правлении. и

в Опарихе проснулась Марфа Посадница, проснулась гражданка. Как только Опариха услышала об этом, её передёрнуло, и глаза засверкали: „Ну этому не бывать, вот ещё новость. Какое они такое право взяли баб стегать. Разве это не обида всем бабам, коли над ними будут командовать так и издеваться.“

Героям обоих рассказов приходится действовать среди людей, терпящих постоянную нужду, знающих одно утешение—водку, людей—и это особенно касается первого очерка,—не вышедших из первобытного, дикого состояния. Таким видел Решетников народ, такова была его „трезвая правда“.

М. Клеман.

I.

НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ.

Рассказ доктора.

... Прежде всего я должен сказать вам, господа, что Никола Знаменский, мой достоуважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо действительное. Я знаю, что всякий из вас скажет, что этот рассказ небывальщина, и в настоящее время пошлая вещь; но я вас предупреждаю: многие из вас таких людей, может быть, не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человеке. Мне, изъездившему и прожившему в разных захолустьях разных северных губерний, приводилось видеть и после смерти моего отца людей покрасивее его. А надо вам заметить, мой отец умер, кажется... кажется, назад тому лет тридцать. Знаю я также, что многие из вас вовсе не бывали в наших северных губерниях и не имеют никакого понятия о тамошнем климате и жителях. Когда я, по окончании курса в семинарии, поступил в академию, то над моими походкой и произношением долго смеялись товарищи, удивляясь в то же время моему телосложению и силе. Да! та ли ещё была бы у меня сила, если бы я был Никола Знаменский... И самому мне, когда я вспомню прошлое, особенно сельскую жизнь, как будто не верится, а, между тем, такие люди были, и

люди эти честные, добрые, но устроившиеся под влиянием забиенной среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминал отца, мне смешно казалось. Даже раз я за обедом вдруг захохотал, что удивило инспектора, и за что я получил хорошую кашу из берёзы. Но теперь я думаю так, что отец несколько не был виноват в том, что на наш взгляд был смешон; я был бы в тысячу раз виноватее его, если бы последовал его примеру. Впрочем, обо мне начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагам благочинного, назывался „Иерей Николай Сидоров Попов“, а в деревнях, в Знаменском селе, Березовского уезда, Холодной губернии, назывался Никола Знаменский, так же, как и дед мой, вероятно потому, что в селе нашем была знаменская церковь. От этого, при поступлении моём и брата моего Ивана в семинарию, вышло недоразумение, потому что отец мой никак не хотел согласиться, что он Попов. Когда ему говорили: „да ведь ты Попов?“—он говорил: „Знамо поп, а парнишки што за попы? Эх како слово сказано...“ Так меня называли Поповым, а брата Ивана—Знаменским. Он и на бумагах подписывался просто: *поп Никола Знаменский*, на что, впрочем, благочинным мало обращалось внимания.

Лицом, походкой, одеждой и словами мой родитель несколько не отличался от крестьян Березовского уезда. Лицо у него было желтое, глаза большие, с большими рыжими бровями, которые росли в разные стороны и потому придавали лицу угрожающий вид; нос широкий, а когда он хохотал, то ноздри делались очень широки, оттопыриваясь кверху;

борода и волосы на голове были пепельного цвета, большие, как у крестьян, и никогда не чесались. Отец мой не любил больших волос и всегда смеялся над теми, которые носили косички: „чорт—не чорт, чучело—не чучело...“, говаривал он и плевал в сторону. Роста он был среднего, но мужчина здоровенный; говорил басом, и его пьяного далеко было слышно. У него была только одна ряса из зелёного сукна, доставшаяся ему от тестя. Эту рясу он надевал только в Пасху, в Троицу, в Николин день, в Рождество, да когда ездил в город к благочинному, а в остальное время она висела в чуланчике, где крысы порядочно ее портили каждый год, и моей матери, забывавшей о ней в обыкновенное время, было не мало хлопот законопатить её, что она исправляла посредством холста или просто тряпок. Носил он лапти собственного изделия и крестьянскую шапку, сшитую из бараньей шкуры с шерстью, и эта шапка, ношенная им не один десяток лет, была очень тяжела от починивания и была ему очень дорога. Другого одеяния на ноги и на голову отец не имел. Зимой и летом он носил длинный полушубок, состоящий из телячьей, овечьей и козлиной шкур с шерстью, с тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а летом снаружи. Этот полушубок был ужасно тяжёл для нас, восьмилетних мальчуганов, и мы удивлялись, как это отец может носить такую тяжесть. Был у него и коричневый армяк, но он был отцу дороже рясы и надевался очень редко.

По этим описаниям вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отец никогда не снимал с себя портретов, никогда

не рисовался, а постоянно хлопотал. Представляйте себе его сидящим в кабаке, в полушубке, опоясанном верёвкой из лыка, с рукавицами или без рукавиц, в лаптях, с перевязанными до колен штанинами лычной бичёвочкой, и рассуждающим с мужиками о разных разностях, а преимущественно о ловле зверей и птиц; или представляйте его отправляющимся с дьячком Сергунькой в лес в такой же одежде, только у отца на спине болтается мешок с хлебом, солью и ножиком, в правой руке чугунный лом, которым он подпирался, как палкой, а за верёвку, опоясавшую полушубок, вдет топор с топорщиком—это он идёт бить медведей; или идёт отец с Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечах, и на этой палке висит убитый медведь, лом затянут за верёвку, топор заткнут за опояску дьячка Сергуньки; представляйте его, пожалуй, ругающимся с мужиками или звонящим в колокола на соборной колокольне в губернском городе Холоде, вместе с дьячком Сергунькой... Но всё-таки имейте в виду то, что он умер назад тому тридцать лет...

Уезд, в котором жил мой отец, один из самых бедных в Холодной губернии, каких уездов ещё очень много в других губерниях, а народ и теперь ещё там *дикий*. Хлеб от холода не растёт. Поэтому крестьяне занимаются звериным промыслом и зверей продают в ближайшем городе Березове купцам, которые так ловко надувают простаков, что они всю жизнь не могут выйти из кабалы и долгов купцам. Например, крестьянин привозит к купцу лося, купец даёт за лося четвер-

так или пуд ржаного хлеба и просит крестьянина привезти ему двух оленей. За это он дает крестьянину вперед ещё пуд муки. Крестьянин три месяца гоняется за оленями и, привезши оленей или их шкуры, получает от купца выговор, что не исполнил поручения в срок; а так как крестьянину нужен хлеб, то он исполняет на купца за пуд муки какую-нибудь работу, например, работает в кожевенном заводе. Или, из-за хлеба, крестьяне нанимаются рубить лес для березовского купца и этот лес весной сплавить по реке Бурой к такому-то месту. Купец подряжает знаменского старосту или состоятельного крестьянина так: за пятерик дров даёт ему рубль, за десять брёвен—полтинник, а этот крестьянин подряжает крестьян уже на свой счёт и даёт половину. За сплав летом купец давал одному человеку восемь или пять рублей, если больше пятисот вёрст, а подрядчик—половину. Но часто бывали несчастья такого рода, что от прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты в бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрядчика на всю жизнь, так же, как и подрядчик купцу. Другие жители пробиваются тем, что продают в Березове кадки, масло, яйца, телят и т. п. с большими убытками, потому что в город наезжает всегда в базарные дни много бедных крестьян, у которых горожане всегда покупают с бесстыдным выторговыванием.

В нашем Знаменском селе в то время, когда мне был восьмой год от роду, было двадцать домов, в которых жило двадцать пять мужчин, пятьдесят девять женщин и пятьдесят один человек молодого поколения.

Мужчин сравнительно с женщинами было мало потому, что они жили в разных местах на заработках. Это население впоследствии постоянно убывало, и теперь, когда я был там в прошлом году, там состоит на-лицо только восемь домов с тридцатью человеками всяких возрастов. Причина этому та, что люди в голодные годы мешали в муку кору или ели одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы в другие места. Жители при мне были крещенные и некрещенные: к первым принадлежали православные государственные крестьяне, которых было только шесть семейств; а ко вторым—тептери и черемисы; из них было, впрочем, несколько и крещеных, но они всё-таки по своему молились своим богам; у них были свои обряды, свои понятия.

Само собою разумеется, отца нельзя назвать развитым человеком, потому что все его способности тратились на то, как бы ему угодить благочинному, убить медведя, настрелять глухарей, как бы достать больше хлеба, и как бы лучше обругать дьячка Сергуньку, или сделать так, чтобы Сергунька и все люди, повыше его, не ругали его. Раз он хмельной пьяному Сергуньке обрезал косу за то, что тот упрекнул его тем, что он в лесу с дороги сбился.

Отец мой, как я вам уже говорил раньше, был здоровенный мужчина. И было от чего! Возня с медведями, которых он любил больше всего на свете, подвижная жизнь—придавали ему бодрости и силы: он никогда не хварывал, не жаловался на слабость зрения, пил пиво и брагу целыми жбанами, ел за троих,

спал подолгу и так крепко, что его трудно было разбудить. Один раз он, хмельной, за что-то избил восемь черемисов, и все черемисы нашего прихода боялись „знаменского Микулы“.

Отец его был дьячком в том же селе, обучавшийся чтению и письму дома и неизвестно каким образом сделавшийся дьячком и как справлявший службу. У этого дьячка, моего деда, которого, однако, мне не привелось видеть, было два сына: Николай, мой отец, и Семён, да ещё дочь Матрёна. Они кое-как выучились писать и читать по церковному у священника, и на этом закончилось их образование. Когда умер мой дед, отца сделали на его место дьячком.

Вот что говорил об этом назначении Николай Знаменский своим приятелям:

— Сеньке, в та поры, кажись, было двадцать-первой, али двадцать-два года, а мне пошел двенадцатый (то-есть 20-й), не помню... Сорви-голова был этот парнишко! Ну вот, теперича, как есть помню... Сидим мы за столом на поминках; поп Алексей и бает: а кто, бает, из вас, теперича, робята, дьячком хочет сделаться?... Ну, а нам, мне да брату, обоим хотелось дьячками быть, потому, сам знашь, подати с дьячков не просят, жизнь лёгкая, а што насчёт оранья—наше дело: заорём так-толи што... Поп Алексей и бает: двоим не-гоже, одному нужно... Ну и велел ехать мне да брату в город, к самому благочинному, и граматку обещал дать—это к благочинному, знаешь... Ну, поехали. Я да брат по лукошку лиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, чупарый, тебя не сделают, а

меня, бает, сделают. потому у меня, бает, в лукошке два ста двенадцать-два яйца, а у тебя только два ста... Ну, пришли к благочинному, рыжий такой, просто разодет так, што и не бай! „Што?“—спрашивает это нас... Так и так, баю; а я, нужды нет, што Сенька был сорви-голова, я всё-таки был не в пример бойчае его. „Вот те, баю, грамотки от нашего попа Олексея, дьячком велел тебе меня сделать. За это я тебе, батюшко благочинный, лукошко яиц привёз“. Смешно ему што-то стало. А Сенька как взглянет на меня по коровьи и скажет благочинному: „Врёт Миколка. Я два ста двенадцать-два яйца привёз, а он только два ста“... „Ладно“,—бает благочинный. Ну, и заставил он нас читать—прочитали гоже; петь заставил, а я по церковно-т немного смыслил... Благочинный и бает: ты, бает, петь не умеешь, а тоже в дьячки суешься. Ну, да, бает, ладно: будь дьячком в селе, а ты, бает брату, останься в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к архирею и скажу, колды тебе приезжать постригаться... Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дам. На што из-за этого с попом Олексеем дома подрался маленько... Пошли мы с Сенькой в кабак. Сенька дразнится: што, бает, я в город, а ты в село... Ладно, баю, в городе медведев нет, а ты меня хоть зарежь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, теперь старше тебя, начальство... За это слово я ево больно хотел побить, да на радостях прощение сотворил.

Город от нашего села был в пятидесяти верстах, и туда отец ездил часто с зверями,

птицами и рыбой, которые он продавал одному купцу или, проще, получал от купца муку, крупу, соль и порох с дробью. Дядя Семен, проживши в городе год, значительно пообтёрся: носил суконный подрясник, сапоги, помахивал своей головой и косичками, за что отец стал называть его пучеглазым чортом. На другой год дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился в доме тестя, который, кроме жены, имел ещё трёх дочерей, ужасно глупых женщин, которых мой отец не мог терпеть и называл кикиморами. Особенно он ненавидел их за то, что они называли его неучем, сельским дьячком; а со стороны он слышал, что они называют его колдуном, потому что он, будто бы, посадил им по киле: у них было по грыже под подбородком — местная болезнь, происходящая там и теперь от нечистоты и влияния климата.

Име № 952

Церковь в Знаменском селе была открыта при моём дедушке, с целью обращения язычников в христианство. Первый священник был молодой, учёный настолько, насколько в то давнишнее время можно было ожидать от человека; но народ не понимал его слов и в церковь не ходил, и он, промаявшись в селе кое-как год, уехал в другое место. После него священником был от. Алексей, при котором мой отец сделался дьячком; он был старик и скоро умер, а на место его приехал от. Василий Здвигженский из Рязанской губернии, где он был дьяконом на причетническом окладе. Он думал, что в нашем краю жить хорошо, но ошибся.

Вот что рассказывал про него мой отец:

— Первым делом поп Василий остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и стал думать, как бы ему дом выстроить, да большой, в пять горниц... Ну, потом и бает мне: поди-ко завтра кличь хрестьян в церковь.— Зачем?— баю. А по-то, бает, нужно... А сам бает не по нашему, а инако, смешно, подковыриват как-то... Ну, утром я и скликал всех. Пришли... Ладно. А поп обедню служит. Тожно вышел на амвон и бает что-то по бумажке. Поглядели на него мужики да бабы, и драло. Поп догадался. В другоредь велел мне двери запереть, да народу-то пришло помене, куды как мало, больше ребятёнки... Вышел опять поп и стал по бумажке сказывать, изгиляется, и голос другой... Уж как это он изгилялся! и рукам, и ногам, и головой... Ребятёнки хохочут, а я им грожу; не способился; не одного за волосы отвозил. А кои постарше были, те пошли к дверям, а я не пущаю и баю: поп не велит пущать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Так поп ничего и не сделал. А с этих пор ни один мужик и ни одна баба не стали ходить в церковь. Только ребятёнки и бегали по малости. Ну, поп-то был придурай тожно: пошто, бает, риза холщёвая, надо серебряную—стал сбор с мужиков делать, а у тех и самих-то шиш. Надо, бает, старосту церковного—выбрали первого што есть во всём мире плута... Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали от него. Ну, да он и не больно-то ласков был: брезговал мною. Ну, стал поп жаловаться благочинному, да ничего не взял: потому, благочинного нужно поблагодарить,

а у попа шиш; попу мужики ничего не дают... Вот мой поп и рассердись на благочинного и поезжай в губерню к архиерею, а тот на него осердился: стричь, бает, больно буду... С тех пор поп славный стал и мужикам полюбился, стал со мной в лес ходить на промыслы, и попивали мы с ним пиво и водку, как ни один мужик не пивал... А то, когда найдёт на моего попа *благый стих*, позовёт меня да старосту, и пойдём служить обедню: я часы кое-как прочитаю, он эктинью скажет через *два в третий*, евангелие прочитает, „иже херувимы“ пропоём... Он придурай, што-ли, был—не знаю: как я запою: *отложим попечение*... он и плачет и плачет—што есть жалко его... Я и баю: чево ты нюни-то распустил. Вылезай, баю... Ладно што людев-то не было, окромя старосты, да и тот едва мизюкает (дремлет)... А поп через три года, как в село приехал, половину-то обедни позабыл, а книжки ~~одно~~ раза подлецы черемичы со всеми иконами, ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами растащили и виноватых не нашли...

Захотелось отцу жениться на поповской дочери. В это время поп жил уже в своём доме.

„Красивая была эта Настька в та поры,— рассказывал отец.—Ну, да это што... А то мне любо, што не скалила так зубы, как городские девки; девка, одно слово, работающая. Ну, вот я и пристал к попу Василью: отдай, баю, Настьку за меня! Поп и бает: „ты и пальчика, што есть, её не стоишь“. Врёшь,—

баю. Без меня, баю, ты бы кору глодал да пальчики облизывал. А я тебя стрелять научил. Отдай Настьку, не то плохо будет. „Я, бает, за попа отдам“. Ну, а я в та поры баской был, и Настька со мною ласковая была“...

Жена священника скоро заметила, что ласки её дочери зашли уже очень далеко, и это привело её в отчаяние, а священника—в ярость. Священник как-то был хмелён, обрехал дочери волосы, прибил и выгнал её; дочь убежала к отцу, а у того в это время был уже свой дом, заключающий в себе одну избу.

„Пошёл я к попу,—говорил отец,—топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теревит. Вот я как крикну: видишь это! и показал ему топор; у пона руки опустились, и язык высунулся. А жена его убежала на улку и кричит: „ой, попа режут! ой, попа режут“. А я тем временем схватил попа и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю... Поп испугался и кричит: „отдам! отдам!“ Врёшь?—баю. „Вот те Христос!“—бает. Ну, и начали же мы плясать с ним! Народ, было, собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, как следует по божьему закону, я к отцу привёл, и наказал до свадьбы не обижать её; а то, ей-Богу, мол, косу обрублю и попу, и попадье“.

Мой отец долго вспоминал про свою свадьбу.

„Уж так-то мы всем селом тешились—и не говори! В первый день восемь корчаг пива, да шесть корчаг браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А уж што это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были—страсть.

Уж нигде не было и не бывать такой свадьбы, какая была у Миколки Знаменского!..“

Тётка Матрёна вскоре после этой свадьбы вышла замуж за городского дьякона, а так как отец любил компанию, то он, сломав свою избу, пристроился к дому попа, так что из двух домов образовался по внутреннему устройству один дом, потому что из кухни попа были двери в избу отца.

Прошло три года после этого. У отца было уже два сына: Иван и я, Николай. После нас ещё рождались дети, да умирали.

Отец очень хвалился крестинами:

„Уж я николды так не рявкал, как на ванькиных крестинах! Уж я эту „верую“ лучше всех откатал, а пел так баско, што опосля того и придумать не мог: на какой это я манер пел толды? На што жена нездорова была, и та хихикала от радости и баяла: экой ты у меня петушок... А как у меня другой сын родился, поп и я хмельные больно были. Поп и даёт ему своё имя... Нет, баю, поп, давай моё!—Нет, бает, не хочу.—А ты, баю, своего парня наживи и давай ему своё имя, а этова парнишка я сам назову... Так поп ничего и не сделал со мной. Сперва было учнул сказывать: крещается раб божий Василий, да я крикнул: не Васька, а Колька! Колька в отца пойдёт. Ну, значит, Колька у меня и сделался. После, было, хотел я это имя дать Ваньке, а ванькино—Кольке, да поп метрики услал к благочинному“.

Вскоре после моих крестин умер и знаменский священник: он объелся грибов. Отец сильно запечалился, как он говорил. Он жил дружно с священником, и священник в ссо-

рах всегда уступал отцу. Привёз отец из города благочинного, который в наше село никогда дотоле не заглядывал. Подивился благочинный тому, что в селе церковь деревянная, похожая на часовню, нет колокола, образов всего только восемь, риза одна холщёвая. Стал благочинный служить обедню с соборным городским дьяконом; на клиросе пели мой отец и дядя, только дядя службу знал хорошо и больше заставлял отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народа, сошедшегося больше из любопытства. После похорон, за обедом, отец стал просить благочинного сделать его попом.

— Да ты что есть и часы читать не умеешь,—сказал благочинный.

— Умею... А уж я тебе как много буду благодарен,—и поклонился отец в ноги благочинному; а это нравилось благочинному.

— Ну, приезжай в город; брат поучит тебя.

— Брат! Да я ему все волосы выдергаю... Штоб ему меня учить!—горячился отец. Дядя стал подсмеиваться над отцом, а когда тёща отца дала благочинному тридцать рублей на ассигнации, и благочинный сказал отцу: „ты будь в надежде—всё сделаю“, то дядя сказал благочинному:

— Вы неправильно это, не по закону...

— Што?—спросил сердито благочинный.

— Это место по закону мне следует.

— Ишь какой забияка! Так вот те приказ: быть у брата в дьячках.

— Упаси меня мать Пресвята Богородица, штобы я с таким лешаком да в одном селе стал жить!—закричал отец.

Когда благочинный лёг спать, то дядя подошёл к отцу и, сказав ему: „подлец!“, вдруг ударил его по лицу. Это отца привело в ярость, но он сдержался и вытолкал дядю на улицу, сказав: „хоть хуже тебя буду, а знаться с тобой не хочу после этой оказии“.

С этой поры отец не мог без злобы говорить о брате, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отец в городе попадался навстречу брату, тот плевал чуть не в лицо отцу и обходил его стороной, а отец пугал его кулаками. Семейства отца и дяди не кланялись друг другу и всегда со злобой рассуждали друг про друга. Тётку Матрёну тоже довели до того, что она перестала ходить к дяде, а соборный дьякон, муж тётки, так давил его, что он принуждён был переехать в горный завод, где он женился и умер на сорок пятом году дьяконом.

Месяца через два после смерти знаменского священника, потребовали отца в город Подгорск, отстоящий от Березова в ста верстах. Благочинный сказал отцу, что его требует архиерей на посвящение его в священники. Отец очень обрадовался этому, поклонился в ноги благочинному и два дня брал уроки у мужа тётки, но запомнил очень немного. Он никогда не видал архиерея и его ужасно пугало то, как он предстанет перед такое лицо. Съездил он в село за рясой, забрал все деньги, какие у него были, взял с собой лукошко яиц, кадушку с топлёным маслом и поехал в Подгорск, о котором он знал по слухам.

Воротился он домой через месяц, и вот, что рассказывал нам и чем хвастался всю жизнь.

„Из Березова в Подгорск поехали со мной один кутейник, востроглазый такой парень, да ещё какой-то поп. Смеются они надо мной, зачем на мне армяк надет, шапка мужицкая и лапти... Ну, да я их пугнул. Всю дорогу они пугали меня архиреем, а у меня у са-мово всё нутро всю дорогу ворочало так больно, так больно... Потом, как приехали в этот Подгорск, я диву дался: город больше Березова, а церковей сколько!.. А я допреж думал—только на свете и есть один город Березов... Кутейник позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пятеро кутейников было, да один дьякон какой-то. Тут я с ними баско назюзился, потому они мне понравились, и вино у них лучше березовского. А утром меня растолкали: архирей приехал. Иди, покажись ему... Баяли, как он приехал ночью, во все колокола звонили. Ну, просто, душа в пятки ушла! Стал запрягать лошадь, так не велят. Взял кадушку масла да лукошко яиц, забранили: он те, бают, даст за это... Однако, я таки понёс, а он жил у тамошнего благочинного. Ну, просто душа в пятки ушла! Полезаю в избу. „А где, баю, владыко?.. А меня уж научили, как архирея называть, только я первое-то слово не мог выговорить. Ну, там спросы пошли, хохотали сколь надо мной. Поди, бают, к набольшему дьякону, и дорогу показали. Я пошёл... Сердитый такой, хайло у него побольше моего...—Што, бает, тебе?—Я, баю, Никола Знаменский.—Кто?—спрашивает. Кое-как растолковались... Отчево, бает, ты без рясы?—Я, баю, а пошто

ряса?.. Он как закричит; я ему хотел, было, дать масла—так не берёт: „Мы, бает, эту дрянь не берём, нам, бает, девать её некуда. Давай деньги“. Ну, дал я ему десять рублёв—и спасибо не сказал.—Ну, бает, я иду к самому владыке, айда со мной... Мурашки забегали, просто беда! и я кое-как опаматовался, как очутился в хорошей горнице. Вот горница! и нигде такой я отроду не видывал, а этих дьячков да попов—и! беда!! А большой дьякон даже и не поклонился им, так и ушёл в другую горницу. Вот забился я в уголок, боязнь маленько прошла... Дьячки и попы шепчутся, крикают, бумажки читают, деньги считают, а какие-то баские парнишки то и дело бегают по горнице; какие-то кутейники высокие и невысокие, руки в боки, глаза в потолки, ходят и покеркивают... Ничего я такого отроду не видывал. Уж дивился я, дивился, об архирее позабыл—больно уж баско стоять-то было. Только вдруг выходит из дверей набольшой дьякон и как гаркнет—куды-те медведь какой: „Николай Попов!“... Я вздрогнул. Поглядел на него; а он опять: иди сюда... Ну, я просто убежать хотел. Уж не помню, как я очутился в пребаской комнате: пол это, знаешь, светлый, как лёд, а стены—и сказать не умею... Только вдруг выходит откуда-то монах с большим дьяконом и спрашивает: который? —Этот,—указывает на меня большой дьякон и машет мне рукой, а я трясусь, тронуться с места не смею, а он машет... А владыко идёт ко мне, я и бух в ноги ему...—Встань, говорит мне владыко, а я стукаюсь лбом об пол, а он бает: встань... Нечего делать, боязно, а встал, он меня пере-

крестил... „Умеешь служить?“—спросил он меня...—Всё, баю, умею,—а сам промеж себя думаю: не спрашивай ты меня ради Христа. Господи Иисусе, спаси-помилуй; большому дьякону все деньги отдал... А он глядит на меня, большой дьякон мне глазами мигает, а я ни жив, ни мёртв. Уж я, кажись, сколько медведей видал, а никогда так не было боязно, как тут.—Сколько у вас в селе прихожан?—спрашивает владыко; я плохо понял и сбаял: чево? Владыко рассмеялся, а мне легче стало, я уж бойчае стал.—Кто у вас прихожане?—У нас-то?—Да.—А всяки... кто их знает; потом он и говорит большому дьякону: знает ли он службу?—Знает,—сказал тот и назвал его первенством.—Приготовь его... А ты завтра будешь посвящён в дьяконы... Я и баю: а што ж благочинный баял: в попы? А большой дьякон и глазами, и ртом, и всяко изгиляется, так што мне смешно стало. Владыко и бает:—што с тобой? — Да вон, батшко-владыко, большой дьякон уж больно смешно глазами да ртом изгиляется. Поглядел на большого дьякона владыко сердито и сказал: „завтра ты будешь дьякон, а после-завтра поп“... Я ему опять в ноги... А как вышел оттоль, совсем ровно другой стал: весело не весело, а так уж што-то особенное, што и сказать не умею. А эти дьячки и попы, как вороны, стали лезти ко мне: „што, бают, ничего?.. што сказал?“ А кои напросились вина выпить.

„Уж больно я был весел, так што и об масле да яицах позабыл. Только у квартиры и вспомнил об них: видно, большой дьякон взял.

„А в этот день меня славнo напоили. Утром опять пинками разбудили. Пошёл в церковь, народу тьма-тьмушая. У дверей стоят архаровцы *) с большущими ножами **) и то и дело толкают народ да бьют их кулаками. Меня тоже один ударил, да я его так треснул, што он будет помнить Николу Знаменского. Спасибо, попы заступились и втащили меня в церковь. Попы, знаешь ты, бегают, дьячки и дьякона тоже, а на них кричит большой дьякон. На клиросах—это молодые парни—эконькие и экие стоят, эконькие мальчуганы в ризках. Диво! Ну, надели на меня ризку (стихарь) и поставили в угол... Просто страсть... Вдруг попы и дьякона похватили, кто чево мог, и побежали вон из алтаря, и я за ними, только ничего в руки не взял... Меня, было, один дьякон чуть не ударил за то, што я его больно толкнул, а другой велел мне смирно стоять в алтаре... Да я думал: это он брезгует мной... Не успел я опомниться, как вдруг запели... Ах, как баско! Я и рот разинул, только гляжу, это на клирос меня и тянет за рукав дьячок, а владыко уж посреди церкви стоит, одевают его... И риз-то этих сколь... А я стал в алтаре в угол к дверям и гляжу это в шелку, как одевают, а большой дьякон с другим дьяконом кадят. И диво же мне всё, и понять не могу, што певчие поют, а пели так баско, так баско... (и отец при этом крякал). И никак я не мог понять вот какого пенья пошто тамо пели: с *полатей на полати* и много раз, да так баско,

*) Казаки.

**) Саблями.

особливо, как эти ребятки в ризках... (и отец опять кричал, как бы желая дать понятие о пении исполтчиков).

„Вот молодые дьякона, што архирея одевали, повели меня, грешного человека, на середину церкви, да сперва один, потом другой, и давай толкать меня в шею. Я смотрю на них и дивлюсь, а они зовут меня в алтарь. Ну, как я пойду, колды в большие двери попы ходят? а большой дьякон стоит в больших дверях и машет меня. Ну, перекрестился и пошёл... Не огляделся я, как большой дьякон подвёл меня к архирею, а он сидит... Ничего потом не помню, окромя того: как вдруг большой дьякон рявкнет: «ах-ти вошь!». Ну, я, брат, больно испугался... А штучки-то эти у меня-таки водились. Помню ещё, што волоса мне стригли; ну, да это куда ни шло.

„После обедни владыко бранил, бранил меня и всё-таки обещал завтра попом сделать, а от большого дьякона просто покою не было... На другой день меня с дьяконами поставили, эктению заставляли сказывать... Спасибо, дьякон, што рядом со мной стоял—сказал, да и певчие скоро пели... Не легко, братец ты мой, попом сделался.. Владыко опять бранил меня и большого дьякона, зачем он не выучил меня, а певчие толковали, што-де потому меня большой дьякон не выучил, што я мало дал ему денег... Мало? десять-то рублёв, да кадушку масла, да лукошко яиц?.. Певчие да дьякона эти разные всё просили у меня денег—да где я их возьму?

„После этого меня две недели учили, да плохо я понимал. Маялись-маялись и послали домой“.

Нас, ребят, не выдавших никогда архиерея, очень занимал и удивлял этот рассказ.

Из Подгорска отец привёз в Знаменское село дьячка Сергуньку, который служил тоже в каком-то селе этого уезда и который архиерея тоже видел в первый раз. Ему давали стихарь, и так как отец жил с ним на одной квартире, то они сошлись, а так как Сергунька был холостой человек, то отец сманил его к себе: „мы вместе в лес будем ходить“, — говорил отец Сергуньке, любившему стрелять птиц.

Свою обязанность отец знал плохо, а по книжке читал ещё того хуже; дьячок хотя и знал своё дело, но ленился, и если когда служил с отцом, то кричал: „не так!“, но отец его не слушал.

С самого начала отец объявил крестьянам, что он поп, и просил их идти в церковь. Крестьянам хотелось посмотреть, что будет делать в церкви Никола Знаменский, которого они любили, и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто морошки, кто солёных груздей, кто яиц, и т. д. Каждый, принёсший что-нибудь отцу, спрашивал:

— Так идти?

— Как хошь. А я петь стану. Баско спою, как у наибольшего попа поют, — и он рассказывал архиерейскую службу, насколько понимал.

Церковь была полна, отец читал громко, пропуская то, чего не мог разобрать. Когда он кланялся народу или кадил, то кто-нибудь кричал:

— А мне што не кланяшся?

— Погоди и тебе будет. Не всяко лыко в строку,—отвечал отец.

На другое воскресенье в церковь пришло человек пять; и третье, и четвёртое воскресенье отец пробыл в лесу.

К нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отец, ни дьячок не получали никакого жалованья; поэтому приходилось жить приношениями; но приношения делались только в таком случае, если отец гнал народ в церковь или приезжал к крестьянам с крестом и святой водой, да придирался к тому, зачем язычники обряды по своему справляют. Впрочем, отец служил только в большие праздники, которые чтит сам.

Он ужасно не любил черемисов за то, что они воруют, и потому сильно налегал на них, требуя, чтобы они молились и справляли обряды по христиански, и делал с ними штуки такого рода.

Приходит он один раз к черемису и спрашивает:

— Где образ?

— А тебе што?

— А ты крещёный?

— Крещёный.

— Ах ты, ватарашка! Куда ты образ дел? Сейчас позову старосту... В острог он тебя свезёт.

А отец и сам не знал, что такое острог. Он только слышал, что острог — нехорошая штука.

Черемис видит, что одному ему с отцом не справиться, достаёт из-под лавки образ и нехотя весит его в угол.

— Ну, молись!

Черемис не молится.

— Вот так молись, — перекрестился отец и поклонился.

Черемис улыбается.

— А! ты так? пойдём к старосте!.. Тебе святой лик калечить? За что ты глаза-то ему скулунал? Айда!—и отец тащит черемиса.

Черемис боится старосты, который отдуёт его и заставит работать на себя. Обещался он отцу молиться и поросёнка дал.

На другой день отец условился с дьячком, чтобы тот стал у угла дома на улице и отвечал на его слова. Барыши они условились делить поровну и пошли вечером.

Стал дьячок неприметно у угла избы, а отец входит в избу и видит, черемис весит образ в угол.

— А! обманывать?! ты думаешь, я не знаю, што ты снимешь образ?—кричит отец.

— Упал.

— Врёшь, собака! А вот я спрошу образ..

Черемис улыбается.

— Што, смешно? Ты не веришь, што он баёт?

Черемис хохочет.

— Так вот же те сказ: коли образ баять будет, я всех твоих чучел спалю, а ты долгон всю жизнь молиться ему.

Черемис хохочет.

Отец ударил черемиса по лицу и сказал:

— Так ты, образина ты эдакая, над святым ликом хохотать?.. Никола дождики даёт, Никола здоровье даёт, Никола хлеб даёт, Никола тебя счас громом убьёт...

— Не убьёт.

А дьячок, между тем, провертел в углу в пазах дыру, как раз около иконы, и кричит „убью!!“

Черемис испугался.

— Што?—сказал сердито отец и кричит:— скажи, батшко, Микола-угодник, пошто он тебя снял?

— Своим богам молится, нашу веру не любит. Скажи ему, што я ему большую бولهзь пошлю, коли он своих богов не сожгёт сейчас.

— Слышишь?

Черемис в землю стал молиться и шепчет: „не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога“...

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись...—кричит дьячок.

— Ай-ай!—закричал черемис и побежал за чучелами. Когда он приносил чучел, то отец топтал их ногами, так как они были глиняные. Потом черемис дал моему отцу двух свиней.

После этого чуда, бедный черемис долго глядел на икону, осмотрел её со всех сторон, лепетал что-то по своему и повесил опять на стенку; потом он стал молиться и спрашивать икону, даже кричал, да икона не давала ответа. Пошёл черемис с жалобой к отцу, что образ говорить не хочет; отец взял с собой дьячка, и образ опять заговорил. После этого черемис не снимал образа и даже стал ходить в церковь, думая, что поп Микола с образами разговаривает; его примеру последовало несколько черемисов.

В Пасху, в Рождество, в Троицу и в свои именины отец ездил в деревни славить; за

это ему давали кто птиц, кто ягод, кто просто поил пивом и брагой! За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть в городе.

С крестьянами мой отец жил дружно: барства в нём никакого не было, и за простоту все любили его, да и понятия его нисколько не разнились от крестьянских понятий. Он так же, как и крестьяне, говорил, что на другом конце живут люди с рогами, что в луне сидят Каин и Авель, и он ни за что бы не поверил, а обругал бы того, кто стал бы доказывать ему, что земля шар, и т. п. Больше всего крестьяне любили отца за то, что он выручал их тогда, когда с них требовали подати.

— Батшко Микула... Подать надо, — говорит крестьянин, чуть не плача.

— Поди, продай коровёнку, — советует отец.

— Кому продать-то? — город-то далёк, а староста больше рубля не даст.

— Ладно, ужо.

Пойдёт отец к сельскому старосте, занимавшемуся бойней животных, выделыванием кожи и имевшему большую лавку в городе. Он ему всегда продавал крестьянских животных выгодно для крестьян: если бы староста брал корову от крестьянина, то дал бы рубль, а отцу давал пять и шесть рублей, и эти деньги отец вносил сам за крестьян за подати и другие повинности, избавляя их от хлопот и от излишних трат: отец писарю ни

копейки не давал, а поил пивом или водкой до бесчувствия.

Или бывало так: придёт к отцу крестьянин или черемис.

— Што, братан?—спросит отец.

— Бида бульша: хозейко подох, Лапша подох; ись... кору глодал, брюха бульна...

Даст ему отец муки с полпуда и схоронит покойников даром.

Отец часто путался насчёт постов и праздников, о чём он постоянно справлялся в городе у тётки Матрёны, которую очень любил.

— А што, сестра, тожно што: пост али *молост*?

Та смеётся и спрашивает: „мясопуст или мясоятие тебе“.

— Всё одно: пост али молост?

— Теперь молостные дни-то.

— Экой я дурак! — Я, ведь, сестра, капусту ем да редьку хлебаю.

— Через три недели маслянка будет. Приезжай ужо.

Или спрашивает: „а Петро-Павла скоро?“

— Ещё неделя.

— А теперь што?

— Пост.

— А я уж отгулял Петро-Павла.

— Ах ты, греховодник!.. Поди к благочинному, покайся.—Пойдёт отец к благочинному и даст ему лукошко яиц.

Он знал, что бывает именинник весной, но которого числа—не помнил. Дьячок, находясь с ним по месяцу на охоте, тоже путался в днях, староста грамоте не знал и с Рожде-

ства до Ильина дня жил в других местах, писарю отец не доверял. У отца выходило так: стоял снег, появилась трава—это значит Вознесенье, а тут скоро и Никола, а за Николой и Троица. Спрашивать он не любил, а его спрашивали крестьяне.

— А што, Микола скоро? — спрашивают крестьяне.

— Как снег стает, да первый дождь будет, тут значит и Микола.

— А скоро?

— Да вишь ты, всё снег. С гор-то снег стоял, а у нас нет.

А если на другой день пойдет утром дождь, он, не справившись в городе, служит обедню.

Впрочем, если бывал в селе староста, он у старосты справлялся, но староста был раскольник, и ему отец мало доверял.

Метрики вёл волостной писарь, так как они отсылались благочинному два раза в год. Получивши от благочинного новые книги, отец нёс их писарю.

— Гляди! баско как.

— Што опять?—говорил писарь.

— Опять. Ты возьми и пиши тут.

— Да я почём знаю!

Так как писарь в книги ничего не вносил без указаний отца, то за месяц перед тем, как ехать к благочинному, он брал с собой дьячка и писаря с книгами и вписывал в них, что нужно было, в домах обывателей, при чём, конечно, обыватели даром не отделялись, и барыши делились на писаря, отца и дьячка, который, впрочем, всё отдавал отцу.

Благочинный очень много брал за метрики, так что отец ворочался иногда из города без копейки и без хлеба.

Дьячок Сергунька жил в нашем доме в той избе, в которой жил отец до посвящения в священники. Он был пьяница, буян, драчун и при всём этом трус, глуп и бессилён, но человек зато честный. За это и за то, что он помогал отцу, отец любил его; без него не ел и не пил водки, пива или браги тогда, когда Сергунька был на-лицо. Сергунька даже и в город постоянно ездил с отцом. Если у обоих были деньги или много пива и браги, то они сзывали обывателей к себе в дом и поили их на славу; с своей стороны и обыватели, по мере средств своих, угощали их.

Отец даже обещался Сергуньку сделать попом вместо себя, и просил об этом благочинного, но тот говорил: посмотрим. Да и к тому же, ты ещё не умер... А впрочем, прибавлял он, нынче едва ли твоего дьячка посвятят в священники, потому что ныне на эти места определяют учёных.

Мать у меня была смиренная, забитая, простая женщина. С крестьянами она траву косила, ходила к ним, и те ходили к ней вечером. Соберется, этак, женщин шесть, сидят около зажжённой лучины, прядут кудель, что-нибудь говорят или песни поют. Мать в детстве хорошо читала; вычитала она много о житии святых, и эти жития рассказывала женщинам. Теперь же она ничего не читала, потому что нечего было читать.

Случится у кого-нибудь беда, идёт к ней женщина и воет:

— Васильевна!.. сам помирает... ох!.. ох!..

Погорюет с ней мать и запечалится.

— Эко дело, Сидорыча-то нет... А ты уже возьми ключ-то от церкви, да свези его туда.

— Боязно тожно будет.

— Без этого нельзя. Начальство узнаёт— две беды: вам будет и Сидорычу беда будет.

— Нет, уж мы как-нибудь.

— А не то, свезите на кладбище, поп после отпоёт.

— Матушка ты моя!—скажет женщина и поклонится матери в ноги.

Она давала крестьянкам муки, хлеба, семян для огородных овощей, а главное — лечила их травами и деревянным маслом. Иногда больные выздоравливали.

Отец часто колачивал мать ни за что, ни про что. Бывало, дерутся отец и дьячок. Так и кажется, что который-нибудь из них зашибёт другого. Подойдёт мать и слёзно упрасивает их перестать—поколотят и её.

Так, когда отец был дома, она постоянно ходила в синевицах. Плакала моя бедная мать много, и только крестьянкам высказывала своё горе, но и у них не легко было на душе...

Трезвый отец ее не бил, а при гостях или в гостях, наливая ей рюмку водки, говорил весело:

— Ну-ко, Настька, цып-цып!

— Убирайся ты, пьяница!—говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то под порог брошу.

— Убирайся ты, слень большорогой!

— Ой ты, курочка-мохноножка!

Мать выпивает рюмку, кащляет, отец подходит к ней и любезно колотит её в спину, приговаривая:

— Подавилась, попадья, подавилась, а мы укладываем.

Это забавляло гостей, они говорили: „какой совет у попа с попадьеё!“ Несмотря на жестокое обращение отца с матерью, мать, кажется, любила отца. Это я заключаю из того, что, бывало, нет дома отца недели две, она вся измучится: долго сидит по вечерам, долго не спит и охает: „Где же это Сидорыч! Уж не заели ли его медведи? Ведь не говорила ли я: не ходи, не ходи: скоро сорокового убьёт, на сорок-первом не слобровать... А то вон в какую грозу ушёл пьяный. И Сергуньки-то нет, ведь.“ И чуть только слышит она песню или голос, ей думается: это Сидорыч... И она будит нас. Но отец часто приходил после этого недели через две.

Дьячка Сергуньку она не любила: она говорила, что он расстраивает отца, и отец до его приезда был ласковее с ней.

На девятом году мать стала учить меня и брата грамоте, как умела. Я быстро понимал, но с братом она долго возилась. Дьячок учил нас петь, но в пении я был плох, и когда я пел неладно, он, теребя моё ухо, говорил: „учись, учись; попом будешь.“

— Нет, уж я не буду. Пусть он будет,— говорил я, указывая на брата, и злился почему-то на дьячка.

Наступил мне десятый год. Летосчисление мое считалось с именин, потому что ни отец, ни мать не помнили, которого числа я ро-

дился. Время было летнее, жаркое. Я играл с ребятами на улице, а отец ходил по грибы. Приходит домой отец с грибами, а дьячок хлебает уху из карасей.

— Гляди-ко, Сергунька, грибы-то! Не в пример лучше твоих толстопузиков.

— Не хвастайся—поганных принёс.

— Врешь ты, пучеглазый!

Дьячок соскочил с лавки, швырнул на пол наберуху, грибы рассыпались по полу. Он хохотал и скакал на грибах. Это до того разозлило отца, что он долго таскал дьячка за волосы и за бороду. Однако, через полчаса отец смирился; мать принесла ему жбан пива, и он, отпив половину, стал хлебать уху, и по мере того, как его разбирало пиво, он начал ворчать всё более и более, говоря, что он ещё в первый раз получил такую непростительную обиду, потому что грибы были его любимое кушанье. После обеда отец и дьячок были уже порядочно хмельны и перекорялись друг с другом; мать мотала на клубок шерстяные нитки, а я держал перед ней моток.

— Уж молчал бы! Хорош поп, читать не умеет,—кричал дьячок.

— Поговори ты ещё, собака! Кабы я службы не знал, не сделали бы попом.

— Ох ты! Да тебя вовсе не посвящали; тебе мерещилось, а ты и взаправду... Тебя расстригали.

— Ах, будь ты проклят!.. Собака, как есть собака! коли ты хороший человек, зачем ты у меня в услужении находишься? Чуча! Уж над тобой не споют с полатей на полати!

— Ну, как ты не дурак, коли сполать называешь полатами.

— Врёшь! Все хорошие люди бают: коли человек заслуживат, ему большое повышение дают... Вот меня, значит, и повысили: прямо из мужиков попом сделали. А тебя не делают...

— Да ты што больно-то расхвастался! Сколько живу, ты всего-то два медведя убил.

— Сорок три убил!

— Два, а те я...

— Ты?! Да ты што есть, хоть бы в ляшку попал. А вот я так ломом прямо по башке.

— Два!!

— А ты и вот ни на эстолько.

— Два!!!

Отец вцепился в дьячка, дьячок не уступал. Вступилась мать, но её не слушали. Я держался за мать. В это время вошёл в избу городской дьячок, которого я никогда не видал.

— Здорово. Што вы это, ребятушки?

Отец выпустил дьячка; оба они запыхались и с удивлением смотрели на дьячка в подряснике, сапогах и шляпе.

— Который из вас священник Попов?

— Я, — сказал отец.

— Нет, я! — сказал дьячок.

Отец выругал Сергуньку и спросил.

— А што?

— Благочинный приехал.

Отец струсил, а Сергунька захохотал.

— Што? он те задаст!! он те зада-аст!!!

Отец посмотрел на Сергуньку сердито и спросил приезжего дьячка весело:

— Батшка Олексей?

— О! отец Алексей перед Петровым днём умер...

Отец вздохнул, перекрестился и, удивляясь, спросил:

— Кто же то, коли умер?..

— А у нас теперь благочинный новый, молодой, щеголь такой, сердитый...

— Врё?!

— Да он там у твоего дома в повозке сидит.

— Настька, добудь-ко балахон-то!—сказал отец матери.

— Да скорей,—торопил приезжий дьячок отца.

— А ты погоди ужю, я скоро, а ты бы его звал в горницу... Настька, волоки жбан пива... Эко дело, вино-то всё выпили. Это всё подлец Сергунька слопал.

— Ах, беда... Нажил ты, поп, беды... Гляди, благочинный-то в шапочке вышел из короба-то, — говорила мать, глядя боязливо в окно.

Дьячок отворил немного окно и дивился.

— Гляди, поп какой молодой.

— Да не кричи, болван!—горячился отец, суется.

Отец, надевая рясу, тоже глядел с нами. Он уверился в том, что это благочинный, потому что он всех священников в камилавках и скуфьях, которые он называл шапочками, считал за благочинных... Все мы, глядя боязливо в окно, удивлялись: благочинный был молодой человек, здоровый, краснолицый и, как видно, очень важный господин: мать говорила, что он важнее станового пристава.

дьячок—важнее старого благочинного... Приезд его привлёк на улицу много обывателей разных возрастов, которые стояли против повозки у домов, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные! — сказал он вдруг обывателям.

Половина из них вошли во двор, бабы глядели друг на дружку, дети глядели на него с разинутыми ртами и держались за баб.

Отец, помолившись Богу, пошел на улицу с приезжим дьячком. Сергунька, мать и я с братом глядели из окна.

Отец подошёл к благочинному, ниско поклонился ему и подошёл под благословение. Благочинный важно запахнул и сказал:

— Ты, што-ли, священник Николай Попов?

— Тошно так, батшко: я Микола Знаменский.

— Што?

Отец стоял смиренно.

— Я слышал, што ты сегодня обедню не служил.

— Я-то?.. А пошто её служить-то? Разе праздник какой?

— А ты разве не знаешь этого?

— А поцем мне знать то... Вон я вчера из лесу пришёл с Сергунькой. Медведёв-то ноне маловато, а рябков да глухарей—это благодать.

— Ты стреляешь? Разве дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказал! Да я всегда этим занимаюсь, потому кору бы глодал. Зачем! А ты, батшко благочинный, залезай в избу-то, я те пивком попоштую, да глухарей дам.

— Предоставляю это вон ему, а мы отправимся в церковь,—сказал гордо благочинный, указывая на приехавшего с ним дьячка.

— Пошто?

Дьячок Сергунька, услышав это, схватил ключ, лежавший на божнице перед иконами, и, не говоря ни слова, выбежал из избы на улицу и, не поклонившись благочинному, бежал к церкви.

— Куда ты, шароглазый?—крикнул ему отец.

— Обедню служить, — прокричал дьячок, не останавливаясь.

— Сергунька?! да разе топерь служат обедни, свинья ты этакая!—кричал отец, горячаь, и сказал благочинному:

— А ты, батшко, не спесивься: вот те Христос, пиво у меня всем пивам пиво. Цей не хочу, да и с дорожки-то ушки бы похлебал. Сергунька славных карасей наловил.

— Кто этот Сергунька?

— А дьячок. Бестия такая, што беда, а ни на кого не променяю; нужды нет, што он поперёк в горле сидит. Подём... А?

Благочинный, как я заметил, хотел есть, но ему не хотелось согласиться на приглашение отца. Дьячок, приехавший с ним и без стеснения ходивший около него, ругавший лошадей неприличными словами, укладывавший вещи в повозке, насвистывая, с достоинством глядя на народ, собравшийся изо всех домов, и желавший посмеяться над отцом вслух и тем показать нам, что он в хороших отношениях с благочинным, залихватски спросил благочинного:

— Ваше высокоблагословение, прикажете лошадей распречь?

— Не твоё дело! Я скажу,—сказал благочинный, сердито взглянув на дьячка, желая этим доказать дьячку, как он ничтожен. Дьячок присмирел.

— Пожалуй,—сказал благочинный и, к великой радости отца и ужасу матери и нас, вошёл в избу. Мать подвела нас под его благословение. Отец ввёл благочинного в горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи,—сказал благочинный, и потом, затыкая нос, прибавил:—как здесь душно, грязно...

— А што, батшко!.. Прежние благочинные никогда не ездили сюда, а ты и грамотки што есть не послал. Уж я бы припас про те много. А то што: уха!

Отец и мать суетились до того, что позабывали, что им нужно. Отец был в восторге, что он угощает самого благочинного, а мать сердилась на отца, упрекая его тем, что он не позаботился раньше об угощении и вылакал с дьячком всё пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; он расспрашивал о приходах, зевал. Повидимому, он был голоден, дожидаясь хороших кушаний, но отец угощал его пивом, которое мать достала от старосты. Большого труда стоило отцу заставить благочинного пить пиво, которое он пил как будто с отвращением, но всё-таки захмелел.

— А ты бы, батшко, тово... поспал бы маленько. Поди-ко растрясло,—говорил отец.

— Пожалуй, не мешает. Позови дьячка.

Дьячок толковал о чём-то с мужиками, энергически растолковывая им что-то; те хохотали.

Лошадей и повозку втащили во двор. Дьячок втащил в горницу все вещи из повозки и положил на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный лёг спать, приказав, чтобы его не тревожили, а отец, накормивши и напоивши дьячка, пошёл с ним в церковь. Там Сергунька, читая какую-то молитву, чистил полой армяка оклады на иконах.

— Уж я читал-читал часы, а вас нет...— говорил недовольным голосом Сергунька.

Отец захохотал. Скоро они вышли из церкви, взяли у соседей пива и долго протолковали в избе Сергуньки. Приезжий дьячок уверял, что благочинный ужасно строгий человек и по-маленьку не берёт.

На другой день утром, когда проснулся благочинный, то потребовал умываться. Отец подавал ему воды, за что получил благодарность. Умывшись и помолившись, он приказал поставить самовар; но так как у нас не было ни самовара, ни чайной посуды, то благочинный потребовал метрики.

— Батшко, я сбегаю к Ваське. Он писарь и все метрики баско ведёт.

Благочинный дожидался отца с час. Отец принёс белевые книги, в которых ничего не было написано.

— Что же это такое?—спросил удивлённый благочинный.

— А што?

— Отчего тут не вписаны родившиеся, умершие и т. п.

— А пошто их писать-то? опосля впишу.

Благочинный раскричался, отец струсил и не знал, что говорить.

— Я об этом высокопреосвященному до-несу!

— Батшко, не жалуйся!—сказал отец, кланяясь в ноги благочинному, который стал кричать громче прежнего и долго что-то говорил непонятное для нас.

— Я желаю видеть твою службу,—сказал вдруг благочинный и пошёл вон из нашего дома на улицу.

Пошёл отец в церковь с благочинным и дьячка Сергуньку взял. Облёкся отец в холщёвую ризу и начал обедню. Церковь была полна любопытными. С самого приступа, благочинный заметил отцу, что он врёт, и потом, вдруг, приостановив службу, оделся в привезённые из города облачения и стал сам продолжать службу с своим дьячком. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Народ, видя, что служит не Никола Знаменский, вышел из церкви.

По окончании обедни, благочинный сказал отцу: „приказываю тебе непременно явиться ко мне вместе с дьячком в город“, и, не выходя из церкви, велел своему дьячку запрягать лошадей. Сколько отец ни уговаривал его отобедать у него, он пошёл к старосте, который пригласил его. Отцу было обидно, что благочинный пошёл обедать к его врагу, и этот враг не пригласил отца.

Отец злился на дьячка, дьячок смеялся над отцом, и общим советом было решено

накласть повозку благочинному глухарями, яйцами, рябчиками и маслом. Без сбора дело не обошлось.

Благочинного провожал отец с Сергунькой, мать, мы два брата, староста и несколько обывателей. Когда благочинный сел в повозку, то сказал отцу:

„Непременно приказываю тебе ехать в город вслед за мной и явиться ко мне с дьячком и детьми, которых я желаю отдать в училище.“ Приезжий с ним дьячок был очень пьян и кое-как сел на козлы; но староста рассудил сам исполнить должность кучера, и благочинный уехал.

„Пошто меня зовёт в город благочинный?“ — думал отец, и это его весьма опечалило. Ему думалось, зачем приезжал этот новый благочинный в село? Посоветоваться было не с кем, потому что мать ворчала, Сергунька дразнил отца и больше растравлял его, а старосту он ненавидел. Отцу хотелось подарить благочинного, но чем?... Нового сбора с крестьян он не хотел делать, идти в лес тоже не хотелось, потому что хотелось скорее съездить в город. И он поехал один. Через две недели он приехал назад.

— Благочинный топал, топал на меня ногами, просто беда! — рассказывал отец. — Я, бае, што тебе велел? Я, бае, тебе велел явиться с дьячком и сыновьями. Поезжай назад и привези их. А там увидим. Уж я ему кланялся-кланялся — сердится. Прогнал што есть. А ничего не сказал, пошто мне с робятами приезжать.

Мать очень опечалилась: она любила меня, да она и боялась оставаться в доме одна. Решено было ехать в город и ей. Поехали.

Представились благочинному; он сказал отцу:

— Тебя и дьячка твоего преосвященный требует к себе в губернский город. Изволь ехать.

Это было сказано таким тоном, что отцу, дьячку и нам показалось, что благочинный на отца ужасно осердился. Он с нами даже и говорить не хотел и скоро ушёл в комнаты.

Отец спрашивал своих городских знакомых: что бы означало это приказание, но они говорили одно: не знаем. Может статься, что он перевести вас с дьячком хочет. А, впрочем, не набухвостил ли (не пожаловался ли) благочинный.

Губернский город от Березова находится в четырехстах верстах; в нём ни отец, ни дьячок никогда не бывали, и даже не знали туда дороги. Денег у отца было около рубля на ассигнации, а у дьячка никогда не водилось денег. Запечалился отец крепко, попросил денег у мужа тётки Матрёны, тот за несколько пар глухарей и лукошко яиц дал десять рублей на ассигнации и, кроме того, взял с него росписку, что он деньги уплатит. Вся наша семья была печальная, как будто все находились в большом несчастье; но всё-таки отец с дьячком казались весёлыми и перекорялись друг с другом. Встретилось ещё затруднение: когда благочинный был в селе, то велел отцу привести к нему детей, а когда мы были у него, то он на нас не обратил даже внимания. Что делать с нами? Муж Мат-

рёны советовал пожить нам с матерью до его возвращения у него, дьякона, но благочинный вдруг потребовал отца и спросил:

— А ребят ты привёз?

— Привёз.

— Вези в губернский; там возьмут их в семинарию.

Отец хотел-было возражать, но благочинный ушёл.

Итак мы поехали, а мать осталась у тётки Матрёны.

О нашем путешествии говорить не стоит, потому что ни для кого нет интереса. Достаточно и того, что мы четыреста вёрст ехали две недели...

Всю дорогу отец был задумчив; дьячок, по мере приближения к городу, становился всё веселее и старался рассмешить отца чем-нибудь.

— Поп, а поп?

Отец молчит.

— Вот оно што: в гости сам архирей зовёт... Только, я мекаю, не обман ли это.

— А што?

— Што? А то: может нас стегать будут за то, што мы обедни не умеем служить. Чуешь?

— Будь ты проклятой! Чево ведь он и не скажет!..

Приехали к городской заставе. Я сидел на передке и спрашиваю:

— Тятка, куды ехать?

— Куды?! валяй к архирею...— сказал отец.

Поехали прямо. Попалась навстречу женщина. Отец снял шапку, остановил лошадь и спросил её:

— А куды-ка к архиерею надо ехать?

— А тебе на што?—спросила та, улыбаясь

— Звал.

— Да топерь поздно...

— Вре?!

— А вы поезжайте прямо, потом направо, тут в улице жёлтую колокольню увидите, там спросите.

Поехали. Отец дивился, глядя на дома.

— Вот так город! А архиерей поди в таких горницах живёт, што...

— Нет, ты вот что скажи: што он ест?

— А он поди уж ест не нам чета. Поди, и жена у него иная.

— Дурак ты, поп: сказывают, архиереи не женятся.

— Толкуй! Как не то без жены-то?

С такими разговорами подъехали мы к архиерейскому дому. Были уже вечерни.

— Ну ты, слезай,—говорит отец дьячку.

— Нет ты, ты старше меня.

— Слезай, баю!

— Не слезу! Умру, а первый не слезу.

Нечего делать, слез первый отец, за ним Сергунька, потом и мы; но нам отец велел сесть.

— Ты, поп, один поди туда...—говорит Сергунька.

— Нет, вместе.

— Ну уж, меня не затащишь.

— Сергунька! али мы не вместе по медведей ходим, али мы не товарищи?..

— То иное, это иное,—боязно.

Подошёл отец к воротам; ворота заперты. Недалеко от ворот стояли два семинариста и

разговаривали друг с другом. Отец подошёл к ним, снял шапку и поклонился.

— Поштенные, а откуда архирею залезать? Это удивило семинаристов, они захохотали.

— Да ты кто?

Отец сказал.

— Он ещё не приехал: он в уезде. Впрочем, завтра ждут.

— Да как же он звал?

— Мало ли что звал! И месяц проживёшь...

— Какой месяцч?

Семинаристы захохотали, стали расспрашивать отца; выговор отца смешил их, отец не понимал их и, думая, что они издеваются над ним, плюнул, обругался и пошёл к лошади.

Оставивши нас караулить лошадь и телегу, отец с дьячком пошли разыскивать ход к архирею, но воротились назад через час с каким-то дьячком, который велел нам ехать за ним.

На квартире мы прожили с неделю. Дьячок и отец познакомились со многими семинаристами и дьячками, которых он угощал водкой и которые тоже угощали его. От них он узнал об разных порядках: узнал, что есть консистория, архиерейский письмоводитель, когда и как нужно являться к архирею, к письмоводителю его и в консисторию, и т. д. Узнал он также, что за разные справки нужно давать деньги.

Приехал владыко. На другой день отец и дьячок поплелись к нему с двумя дьяконами, а мы остались дома, потому что отцу сказали, что он должен поместить нас в семинарию на казённый счёт.

Воротились отец и дьячок печальные. Отцу приказано было в субботу прочитать в крестовой церкви шестопсалмие, а дьячку звонить на колокольне. Отец запечалился над тем, как он будет читать при владыке, а учить некогда, потому что завтра суббота; дьячок ругает отца.

— Это всё от тебя, потому ты дурак... Какой ты теперь поп, когда тебя в церкви читать заставляют? теперь ты дьячок, а не поп.

Хотя отцу и говорили, что читать шестопсалмие священникам нередкость, и даже в соборе один протопоп в большие праздники, по своему желанию, читает шестопсалмие, но отца трудно было уверить; он думал, что он теперь дьячок.

Пошли мы в крестовую и стали с дьячком около клироса, около которого псаломщик читал часы; отец стоял около псаломщика и дивился тому, как это он скоро читает так, что ничего не разберёшь. Певчие поддразнивали отца и подсмеивались над ним; отец стоял, как на иголках.

— Ступай,—сказал отцу вдруг псаломщик.

— Куды?—спросил громко отец, не выкшый ещё говорить шопотом; народ поглядел на отца.

— Ступай, ступай! бери книгу,—говорил отцу дьячок. Певчие хохотали, стоявший с ними на клиросе протодьякон шептал отцу сердито:

— Што ж ты стоишь? иди скорее.

Отец пошёл, но не в ту сторону; псаломщик остановил его против царских дверей и, указав на место в книге, ушёл.

— Господи благослови... Благослови владыко,—начал громко отец, но, верно, позабывшись, сказал громко:

— Эка оказия!

Народ хихикнул, певчие защишикали, из левых дверей вышел эконоом...

Отец пошёл вон из церкви.

Он говорил, что с тех пор, как он встал на середину церкви, ничего не помнил, что происходило вокруг него. Сергунька, сначала хохотавший, по уходе отца, сказал нам:

— Подёмте, ребята. Беда! Экой, ведь, он, право... Ну, нет, што бы меня попросить...

На другой день потребовали отца в консисторию и там объявили, что ему запрещено исполнять всякие службы, что он теперь даже не дьячок, а расстрига, и отдан под суд. Сколько отец ни валялся в ногах—ничего не помогло. К владыке его не допускали.

После этого он прожил в городе еще две недели: в это время он хлопотал за нас, звонил на колокольне с Сергунькой, и когда нас приняли, он поехал домой с Сергунькой, которого тоже расстригли и отдали под суд, как и отца, за метрики.

После этого мне и брату Ивану не приводилось видеть отца и Сергуньку, потому что мы не имели возможности ездить в Знаменское село. Отец жил только год. Вот, что рассказывала мне тётка Матрёна:

„Николаха сказывал, што уж он теперь не поп, а хуже дьячка. Ну, говорил, ничего... Уж он, верно, много об этом передумал. Когда он приехал в село, крестьяне говорили, что они стосковались о нем—„непопуж я теперь,—говорил он им,—и не Никола Знаменский, а

хрестьянин"... Но как ни уверял он обывателей, те не хотели верить... Покойников и родившихся прибыло много, и так как отец не хотел справлять требы и прочие службы, то крестьяне не отходили от его дома. Уж неизвестно, как он отделялся от крестьян. Церковь была заперта месяца четыре, и когда приехал новый священник с дьячком, крестьяне объявили им, что у них есть поп Микола и дьячок Сергунька. Как ни бился священник, только ни один человек не шёл к нему ни за чем. Священник стал жаловаться начальству, начальство посадило отца в острог, потому-де, что он бунтовщик. В остроге отец и умер, а Сергунька через год после того утонул в реке. Мать умерла у тётки Матрёны.

И теперь наши знаменские крестьяне помнят отца: „не бывать уж такому доброму попу, какой был Никола Знаменский“.

А так как крестьяне ничего не давали священникам, священники часто менялись, а начальство ничего не могло сделать с крестьянами, то приход перевели в другое село; церковь не долго стояла: она сгорела от молнии...

Тётушка Опарина



II.

ТЁТУШКА ОПЯРИНА.

Рассказ.

Бывши в дороге прошлым летом между Е. и Т., я захворал. Ехал я на порожних: обозный ямщик ехал в Т. за кладью. И не смотря на то, что мы ехали с пустыми телегами, лошади шли шагом, и ямщик не по-нуждал, говоря, что надо же им, т. е. лошадям, вольтотность дать. А так как лошади шли тихо, то телегу сильно трясло, так что, проехав таким манером двести пятьдесят вёрст, я подумывал отдохнуть где-нибудь.

Объявил я о своей болезни ямщику, тот ничего не сказал. Объявил в другой раз—он улыбнулся и как-то недоверчиво посмотрел мне в лицо. Однако, я потом уже надоел ему.

— И!.. Што ж такое—болезнь!.. И отчего у те болезнь?..

Я стал его уверять, что болезнь и с ним может случиться; он с этим согласился и рассказал, как в котором-то году он так захворал в дороге, что его чуть не мёртвого привезли в село и как его вылечила тётушка Опариha; потом он вдруг спросил меня:

— Больно болит-то?

— Больно, хоть помирать, так в ту же пору.

— Эко дело!.. Гм... На постоянный не пустят, потому—помилуй Бог... возня! А ихнее дело тоже... где возжаться!.. Одново разу эдак семинарист на постоялом захвораи... Так што ж бы ты думал?.. Все от него захворали... Беда!.. Увели к одному мужику—и там все захворали... Оказия!..

— Ну, моя болезнь не такая.

— Кто тебя знает... А ты уже потерпи денёк-то... право! может ветер-то и разнееёт... Может и пройдёт... А тут к Опарихе.

— Что же это за женщина?

— Женщина? — ямщик замолчал и, немного погодя, начал—женщина, скажу я тебе, вот какая: супротив её никто!.. Право. Мекаю я: ума у ней напратано везде много... баба, скажу я тебе, особая!

— Как так?

— Да так: на всё мастерица. Нашим бабам — и!!.. В науку бы их всех к ней... Ну, и опять тоже баба ходок... Такой ходок, што я и не слыхивал окромя её. Вот те Христос!

— Чем же она занимается?

— Всем. Чем ни захошь—всем!.. Што ни вздумай—это она... Вот она какая!..

Ямщик замолчал и, как я ни просил его определить мне занятия Опаринной, он сперва только хвалил её, а потом сказал:

— Увидишь. На што вот это: ежели бы ты, помилуй Бог, слышать перестал,—вылечит!.. Ей-ей вылечит, да так, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра!..

Я так и заключил, что тётушка Опарина местная лекарка. Подобных лекарок я знаю много и поэтому меня несколько не удивила восторженность ямщика. Однако, я спросил его:

— А что, если я не в состоянии буду ехать дальше, можно остановиться у Опарихи?

— Без сумления. На меня положись,— всё сделаю, только ежели застанем её.

— А она разве не всегда дома бывает?

— Не всегда. Может, в город уехала.

— Что ж она там делает?

— Што? Мало ли у ней хлопот-то?.. Может, и продавать што уехала, а может, што и выглядеть.

Итак, Опариха ещё торговка, а, может быть, у неё есть ещё какие-нибудь занятия. Тётушка Опариха стала интересоваться меня. Перебирая в памяти различных женщин, занимающихся каким-нибудь ремеслом, без мужской помощи, и приобретающих себе пропитания настолько, насколько нужно для существования простой сельской женщины, я пришёл к тому заключению, что Опариной трудно одной иметь несколько дел, и в селе, и в городе. Вероятно, у неё есть какой-нибудь помощник, думалось мне.

— Опариха замужем? — спросил я ямщика.

— Овдовела годов чуть ли не пятнадцать. А што?

— Значит, она старуха?

— Старуха!!—ямщик захохотал и прибавил:—за пояс заткнёт десятерых молодых, вот што...

— Семейство у неё есть?

— Нету—одна.

На этом мы и покончили разговоры об Опарихе. Мне захотелось познакомиться с нею; ямщик сказал, что, коли я дам на полштоф, он всё дело справит, как нельзя лучше.

Через день мы приехали в село. Село это стоит в нескольких верстах от большой дороги; а ехали мы через него для сокращения пути. Как и везде, село не отличается изяществом построек, и окружающая его местность не очень привлекательна. Расположено оно на ровном месте, пересекаемом двумя маленькими речками, через которые сделаны мосты в том месте, где идёт дорога. Дома большею частью двух- и трёх-оконные, с высокими крышами, с покрытыми соломой сараями. Все они выходят кривою линиею на широкую дорогу—единственную в селе улицу. Перед несколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или ещё довольно молоды, или уже засохли, и посажены они, как объяснил ямщик, не из желания иметь перед глазами дерево или ради украшения, а по приказу станового пристава; «суть» приказа становой не объяснил крестьянам, но крестьяне думают, что они растут для того, чтобы в случае расправы не ходить далеко в лес за вицами. В селе есть деревянная, невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами и вокруг неё недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяют костюмами: мужики ходят в синих изгребных рубахах и штанах, босые; женщины—в синих изгребных сарафанах, с платками и без платков на голове, бо-

сые; девушки—в таких же сарафанах и, в отличие от женщин, с открытыми головами и болтающимися сзади косами, без лент, завязанными ветхим и замасленным до чрезвычайности шнурком. Нельзя также сказать и того, чтобы как девушки, так и мужчины были красивы, но здоровьем и дородством обладал по преимуществу женский пол. Около дворов, позади построек, огородов нет, а огородные овощи растут на поле, вперемежку со льном. Направо, смотря с дороги, за селом, по холмистой местности, расстилаются пашни с желтеющей рожью или с серою кочковатою землею; налево растёт мелкий кустарник.

Когда мы приехали в село, был полдень; погода стояла пасмурная. Я чувствовал себя лучше, но мне хотелось пожить здесь с неделю, и мой ямщик остановил лошадей у одного трёх-оконного дома, стоящего наискосок от церкви. Дом этот своею плаксивою наружностью ничем не разнился от других построек. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердаке, без рамы и стёкол, такие же чёрные с вырезками ворота, такая же соломенная крыша на сарае, такие же в оконных рамах разбитые стекла, заклеенные бумагой, или заткнутые тряпками, такой же на трубе горшок, положенный в опрокинутом положении, для того, чтобы ветер не гнал дыма обратно в избу.

Ямщик постучал в одно окно. В доме как будто никого не было. Поэтому он пошёл во двор и, немного погодя, вышел оттуда с девушкой лет десяти или двенадцати.

— Нету, ушла...—сказал ямщик.

— Так как же?

— Да надо подождать... Ты посиди, а я схожу...—Ямщик пошёл и скрылся за церковью.

Четверо ребят подошли к телеге и с боязливым любопытством смотрели на меня. У меня была в узле городская булка и я, желая расположить к себе ребят, показал им булку, но они долго боялись подойти ко мне. И когда один из них, мальчик побойчее других, взял хлеб, то другие окружили его, несколько минут ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ели.

— Что ж вы не едите?—спросил я.

Они улыбнулись, хотели что-то сказать, но замялись и попятились назад.

Пока я думал, чем бы мне приласкать их, показался мой ямщик, идущий позади какой-то высокой, худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался как можно лучше рассмотреть её.

Шла она, глядя в землю, как будто что-то соображая. На ней был синий изгребной сарафан, на голове ситцевый голубой платок, ноги босые. На вид ей казалось годов сорок, но на продолговатом бледном лице не было ни одной морщинки. Нельзя сказать, чтобы лицо её было красиво; не замечалось в нём и той бледности, какая бывает у отцветших красавиц; губы плотно сжаты, так что подбородок поднялся выше обыкновенного; нос широкий, толстый, глаза серые, лоб niskий. Но это было одно из тех лиц, которые, неизвестно почему, нравятся всё более и более, по мере того, как вы вглядываетесь в них. Несмотря на строгий

взгляд серых глаз, в выражении лица было что-то такое, что сразу привлекает и долго остаётся в памяти. Я снял фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула девочке:

— Ты что тут, образина!.. Так разве вяжут?

Голос был здоровый, даже очень крикливый. Девочка юркнула во двор. За ней вошла и женщина.

Ямщик сказал, что эта женщина—тётушка Опарина, отворил ворота и ввёл лошадей во двор, не очень длинный, но крытый, как на постоянных дворах, и могущий вместить в себе до десяти возов.

Вошли мы по лестнице сперва на крыльцо, потом в просторные сенцы, где было душно и куда свет проходил только из дверей. Налево вели двери в просторную избу с двумя окнами, выходящими на дорогу, и одним—во двор; направо была небольшая горенка с одним окном.

Несмотря на то, что с виду дом казался старым, внутри этого не было заметно: стены не покосились, половицы не скрипят, полаты на вид крепки, на печке не заметно ни одной щели. Стены как избы, так и горенки бревенчатые; в избе очень весело, чисто, пахнет вареной капустой и только-что вынутым из печи ржаным хлебом. Одно только неудобство в этой избе,—много мух, но на них хозяйка не обращала никакого внимания.

Я сел к окну, и вдруг во мне появилось желание пожить несколько дней в этом доме. Мне всё показалось в нём мило, даже самое

село сделалось мне милее всяких городов. Хозяйка накрыла стол изгребной синей скатертью, принесла хлеба, ложек. По счёту ложек я заметил, что она намерена была и меня угостить.

Ямщик уселся за стол. Хозяйка стала угощать его пивом и сетовала на нынешнее дождливое время.

— Ну, как у те урожаяи-то? — спросил ямщик.

— Слава Богу, ничего... А ты-то што сидишь? Садись! — сказала она мне.

— Не могу, нездоров.

— Поешь, лучше будет.

Я сел и показывал вид, что ем через силу, но, между тем, уплетал с аппетитом, ибо был голоден. Нас сидело за столом только трое; девушка в горенке пряла кудель. Ямщик, как видно, был коротко знаком с Опариной, но относился к ней, как к женщине практичной и даже в некоторых случаях советовался с ней; она давала советы толковые и подходящие к крестьянскому быту. Ямщик говорил о своей жене.

— Не могу я, тётушка, способиться с ней. Такая бесшабашная, — страсть... Теперича я приезжаю домой... Ну, сама знаешь, с дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить... Тоже, поди-ко, хозяйство, ребятишки... А она, штоб её... говорят: в город ушла, как и о прошлую пору... Ну, не обида ли?

— Не надо бы жениться на ней.

— Да чёрт в её душу-то поганую влезет, прости меня, Господи... Право, кусок нейдёт в горло... Так мне всё опротивело дома; так

бы и не глядел ни на што. Только ребят-то и жалко, а то бы плевать...

— Ну, и что ж, ты видел жену-то?

— Прожил я четверы сутки—явилась. Я ничего, молчу,—потому, что ж её беспокоить, да и бить—руки не стоит марать. А она, тётушка, как есть, не поздоровалась со мной: семенит по домашности; только тёща ворчит: «у, ты, говорит, такая, сякая!» — А мне: «что-ж ты, рази чужой? Поленом, говорит, её»... А мне сердце как будто ножём режет... Вышел я из избы, да к куму, тот употчевал лихо... Так на пятые сутки и уехал. И ума не приложу: што это с ней. Ведь и учивал я её, да только толку-то нет.

Тётушка вздохнула и сказала:

— Ты бы ей хорошенько растолковал: мол, хоть бы для ребят-то старалась. Ну, сам посуди, каковы дети-то будут, коли мать такая? Рази они не понимают?

— То-то!

— То-то, мужчины вы, а смекалки у вас нет. Я те што говорила раньше, забыл? Тёща-то у вас какова? не от неё ли все эти штуки?

Ямщик почесал голову, причем кожа на лбу поднялась выше обыкновенного и образовала несколько морщин; глаза приняли соображающее выражение; он как будто говорил: и этого, мол, я не обдумал раньше.

Разговор об этом предмете скоро замесился примерами тётушки Опариной, которая защищала только одних женщин и доказывала, что в подобных делах виноваты сами мужчины. Однако, ямщик не вполне соглашался с ней.

Отобедали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщик пошёл во двор к своим лошадям; я за ним.

— Ну, что: видно ехать надо?—спросил я ямщика.

— Тебе што ли? И не возьму... хоть ты кому хошь жался—не возьму.

— Но где же я буду жить? Ведь ты ей не говорил ничего?

— Не с бухты-барахты...

Я пошёл к крыльцу.

— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крылечке-то.

Просидел я с час. Ямщик, между тем, уладился с лошадьми и справил всё, что следует для дороги, даже овса и сена взял у Опариной в долг. У амбарной двери ямщик разговаривал с Опариной, делая различные жесты руками, снимая шалку и утирая лицо грязным платком, лежащим постоянно в шапке. Хозяйка не делала никаких жестов, но заметно было, что сообщаемое ямщиком было ей не по сердцу, так как она несколько раз порывалась тронуться с места и уйти. Что они говорили между собою, я не слышал. Только смотрю, ямщик отпирает ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.

— А ты што?—спрашивает она меня. Я понял, что вопрос означает: зачем я сижу.

— Нездоров я, тётушка.

— То-то нездоров, а ел зачем не в меру?

— Обидеть не захотел.

— Кака болезнь-то? Лиха немочь, што ли?

Я молчал.

— Приказей?

— Да,—сказал я тоном больного.

— Пачпорт-то у те наперво надо оглядеть... Ну-ко?!

Ямщик стоял у крыльца и что-то часто чесал голову. Он боялся ударить лицом в грязь, не зная, что я за человек. От моего паспорта зависело расположение к нему Опариной.

Мы вошли в избу.

Отдал я мой паспорт Опариной. Она поглядела на писание, на печать; подозвала ямщика, потом сказала: отойди! и крикнула:

— Окулька!

Явилась девочка.

— Неси свечку.

Девочка, не торопясь, ушла и через несколько минут пришла с зажжённой сальной свечей.

Опарина взяла мой паспорт в обе руки и, держа его между собою и свечкой, стала глядеть на него. Вероятно, она хотела удостовериться, действительно ли бумага гербовая.

— Фальша!—сказала она; но в ту же минуту взяла свечку и ушла в сенцы; за нею вышли ямщик, девочка и я.

— Ербова?... гляди! — сказала она ямщику.

— Ербова! цена рупь... цифру вишь?

— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые... Окулька, гляди!

Девочка тоже стала глядеть и сказала: птица!

Затем хозяйка, спрятав мой документ в карман сарафана, ушла в избу, из избы в горницу; девочка спустилась во двор и стала загонять к одному углу куриц, а ямщик тронулся.

— Счастливого оставаться,—сказал он мне.

Так как без паспорта я не мог ехать, то и не стал задерживать ямщика. Он даже не спросил с меня на полштофа, вероятно потому, что по расчету он должен бы был возратить мне около двух рублей денег.

По отъезде ямщика, я сел на крыльце.

Было очень скучно, в особенности с дороги, когда хочется спать. В другое время и при другом положении я уснул бы сидя, где попало; но теперь, в незнакомом месте, мог ли я спать, думая: а вот-вот выйдет хозяйка, что-то она скажет?

— Ты што ж тут торчишь?—услышал я вдруг сердитый голос.

— Извини, тётушка.. ямщик не взял: я, говорит, боюсь, как бы мне плохо не было дорогой.

— То-то не взял! Чай у те и пачпорт-то не настоящий... Ну, чего сидишь тут?

Я не знал, что мне делать: отправиться ли в избу, или идти куда-нибудь.

— Окулька, постели коншму-то в сенях!—крикнула хозяйка девочке и потом сказала мне: ты ляг там, в сенях, тулупом оденься, взопрей... Ужо малины дам испить;—она ушла в избу.

Немного погодя, я уже лежал в сенях на широкой скамье, куда принесли войлок, подушку и овчинный тулуп. Лежал я раздевшись, покрылся пальто, а не тулупом, потому что в сенях было и без тулупа жарко. Хозяйка принесла мне чайник и чашку. Чайник был горячий.

— Вот пей,—сказала она и поставила чайник и чашку на пол.

— Покорно благодарю, тётушка... Как бы не ты, не знаю, што бы...

— Ну... завтра баню истоплю... Теперь только согрейся.

Хозяйка ушла в избу, и минуты через три из избы слышался крик хозяйки и плач девочки.

— Это што? Я тебя што заставила делать?.. лодырничать?! Вот! вот!

Хозяйка била девочку.

— В угол, на колени!—кричала хозяйка. Скоро я заснул.

Рано утром встала хозяйка, растолкала пинками девочку и заставила топить баню. Так как я лежал в сенях не против двери в избу, то и не видал, что делала хозяйка, только слышал, что она щепала лучину, шлёпала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ног, ругала кого-то чортом, что-то шептала, и когда воротилась девочка, она её два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлебную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла, как следует, деревянную чашку и т. п. Хозяйка стряпала, а девочка бегала взад и вперед то по избе, то по сеням, ругая шопотом хозяйку.

Не знаю, сколько времени я пролежал, переворачиваясь с боку на бок. Вдруг в сени входит крадучись невысокого роста мужик в зипуне.

— Здорово живёте!—сказал он, и снял шляпу, обращаясь к моему ложу. Вероятно, он принял меня за члена семьи.

Я промолчал.

— Дома тётушка-то Степанида Онисимовна?

— Дома.

Крестьянин вошёл в избу и не запер за собою дверь. После обыкновенных приветствий и расспросов с обеих сторон о здоровье, настало молчание.

— А я к тебе, тётушка Онисимовна, со своим с горем... Ох!

— Какое у тебя опять горе? В кабак что заложил опять?

— Ох, не то, тётушка... Кабак што!.. А вот оно, горе-то, и не думал совсем... Кабы знал... Ведь лошадь-то пала.

— В самом деле?

— Истинным Богом говорю.

Настало опять молчание; только слышно было, как крестьянин всхлипывал.

— И думал ли я?.. И что это за год нони: первую лошадь украли, а эта пала... А лошадь-то какая лядущая была... Ну, что я теперь за хрестьянин?

— Уж истинно год ноне такой. Сколько лошадей-то пало!

— И не говори... Все то же говорят: мор такой, што и не бывало такого... Так, как ты думаешь насчёт этова?

— Повремени маленько. Капитал - то есть ли?

— Ни... Вот одна надежда была: репы, мол, продам...

— Ну, на репу-то много не полагайся... подожди овса... это лучше.

— Да што овёс...

— Как што? А ты продай мне ево! сколько возьмёшь?

— Не хотелось бы продавать-то...

— Да я не всё.

— Надо хозяйку спросить.

Тётушка и гость снова замолчали. Первый прервал молчание крестьянин.

— Ну, а ты сколько назначишь насчёт овса-то?

— Почём я знаю, сколько выдет? Надо на деле увидеть, да потом и дать цену.

— Это ты справедливо... А вот я смекаю: Илья Козлов уж давно хочет пропить свою лошадь.

— Вот и покупай.

— То-то што денег нету.

— Достанем. Только ты насчёт овса реши дельнее, да толком, штобы опосля ни тебе, ни мне не было в обиду.

— Всево-то жалко, потому прикупать не хотелось бы.

— Ну, там увидим.

Немного погодя, крестьянин, поблагодарив хозяйку за совет, ушёл, разговаривая сам с собою вполголоса.

Через полчаса после ухода крестьянина, к моему ложу подошла девочка и робко сказала мне:

— Тётенька велит — баня поспела.

— Скажи, что я не могу так идти,—ответил я, указав на себя.—Она всю одежду обобрала.

Девочка ушла, но скоро воротилась.

— Тётенька так велит, — сказала она и ушла.

Я лежал.

— Ты што ж? — Двадцать раз, што ли тебя посылать-то?

— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.

— Да, ведь, я говорила девчонке, штоб ты пугайчик надел... Ах, штоб её!.. нисколько у ней нет рассудку, — и хозяйка дала свой пугайчик, который мне был до колен. В этом одеянии и босый я пошёл в баню. Хозяйка однако, воротила меня от двери в огород.

— Возьми... да натришь камфарой хорошенько, попрей... Слышишь, што я говорю? — кричала она мне, держа в руках пузырёк.

Я воротился, взял пузырёк с камфарой.

Хотя, вообще, в этом селе огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки, по выходе из двора за погребам, было устроено несколько парников, ничем не покрытых; большею частью в этих парниках росли огурцы и тыквы, стебли которых тянулись кверху по жёрдочкам. Невысокая с небольшим отверстием в стене чёрная баня, без крыши и передбанника, стояла около речки. В бане было и темно, и жарко, пахло уксусом, вероятно, потому, что его лили на каменку для того, чтобы не было угару.

Находившуюся в пузырьке камфару я до половины розлил на полу бани для вида и, само собой разумеется, не тёрся ею.

— Ну, што? — спросила меня хозяйка, когда я пришёл из бани.

— Покорно благодарю. Ну, уж и жарко же.

— На то и бани... легче ли?

— Немного легче.

— А што же это от тебя камфарой-то не пахнет? Тёрся ли ты! — вдруг спросила она меня.

— Тёр много.

— А отчего же не пахнет?

— Может быть, у тебя нос заложило.

— Поговори ещё... Поди ляг на своё место, а там увидим. Может завтра и в путь можешь обратиться.

Это решение хозяйки мне очень не понравилось, но я думал, что упрошу её позволить мне пожить у ней сутки двои, трои.

Делать нечего, опять лёг. Вдруг хозяйка кричит в избе:

— Это што за мода ещё! Какое это такое дозволение ты получила в овечку мою палкой швырять?

На улице голосила женщина, но я не мог расслышать её слов; хозяйка всё более и более кричала, начала ругать женщину и с бранью выбежала на двор, потом на улицу. Сначала женщины кричали на улице, потом уже у крыльца.

— Ты уж шесть раз соборовалась, в седьмой околеешь!—кричала посторонняя женщина.

— Нечего меня болезнью упрекать—все под Богом ходим. А вот ты сама-то какой поведенции.

— Ты только с беглыми знаешься? Не знают, што ли, што у те и теперь беглый скрыт!

Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, так и думалось, что они вцепятся друг в дружку; однако, кончилось тем, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потом долго ворчала в избе.

— Из-за чего это у вас вышло?—спросил я хозяйку, когда она стала что-то искать в сенах.

— Ну, вот сам посуди, гожее ли это дело: раз—кричать на улице, другой—обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, к примеру, поведенции? спроси хоть кого, все скажут обо мне, что я, может быть, в тыщу раз честнее её. Теперь, кто ко мне за советом ходит? Слышал, поди, даве разговор-то?.. Всем надо угодить да помочь чем-нибудь, а ведь я тоже не богачка какая, золота ни одного разу не видывала... Да мало ли што?.. Меня и в городе все знают, потому у меня там торговля есть, хоть и не корыстная, а всё ж не воровски торгую, слава те Господи... А она обзывать? Да я ее после этого во всём селе обесславить могу, да и тут жалею, потому муж-то её и так бьёт.

Она подошла ко мне ближе, утерла правую рукою рот и, понизив тон, продолжала:

— И как бьёт он её, судырь ты мой, как бьёт, просто не приведи Царица небесная!.. Мой муж драчун был, да я справлялась с ним, да и то, когда это во хмелю, ну, а во хмелю всяк справится, умей заговорить, или поблажку ему сделай, потому пьян и бесчувствен,—вино ходит... Да и опять мой муж, как проспится, бывало, прощения просит: прости, говорит, Онисимовна; ты, говорит, баба золотая, за тобой никаких примет худых нет. А уж коли муж говорит, могу ли я не гордиться! А эта што? И рожа-то у ней блин... провалиться! и сама спичка спичкой.. И в девчёнках была со всеми в ссоре, ни с кем не ла-

дила; воровка была сосветная... Сколько раз стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха нашли.. Так нет. Иная бы всё к дому, о хозяйстве бы попечение имела, а эта всё из дому, да с солдатом и связалась.

— Отчего же у вас ссора-то вышла сегодня?

— Да это ещё што—цветочки... Ссора ли это?.. Кабы я старосту позвала—ссора значит, а разве она сто́ит того, штобы бросить для неё свое дело и бежать к старосте... Да я на неё и вниманья што есть не обращаю... Вот што!

— Она, кажется, твою овечку била?

— Ну, разве она не мерзавка после этого? Разве это хорошо—при людях пакости делать своему человеку? Да я если бы племянницу свою застала за таким делом, будь тут скотина самого злющего моего врага, я бы и не знала, что бы с девчонкой сделала... Потому коли этс не пакость? Ты как хочешь ругайся—язык-то не на привязи, глотку-то не заткнёшь, а скотина Христова чем виновата?.. Да што и калякать об этом! А ты вот что прими в рассудок, потому ты приказей и эвти дела не хуже моего должен знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня никто этим делом не занимается. Ну, вот она и полезь в повитухи. Знашь, пришло время её сестре рожать, вот она и сбей сестру: не надо, говорит, Опариху, я сама умею, видала... А надо спросить её: где она видала-то? Разве я показываю кому? Разве я могу секрет рассказать? Не могу, потому грех.

— Почему же грех?

— Почему? А вот почему, я те скажу. Теперь я повитуха и знаю, как и што, и с кем дело делать; опять кто какой комплект имеет—

это первое. А скажи я бабе: баба—дура и возьмёт себе, што и она тоже смыслит. Ну, и начнёт, и повредит, што ни на есть... Кто в ответе, как не я, потому я допустила своей простотой до греха человека, потому может али ребёнок, али мать помереть. Не так ли?.. Ну, вот, она и уважила сестрице: ребёнка уморила, да и мать-то скорёхонько умерла... Вот она что наделала.

— А доктора у вас нет разве?

— Хватился! За дохтуром-то надо в город ехать, да он ещё и не поедет... Муж-то покойной и то уж жаловался становому, да тот его же обругал: зачем, говорит, казённую бабку не взял? Я, говорит становой, тебя же за это к суду потяну... Так и не взялся за бабу. А это всё от того произошло: становой-то на меня зубы точит от зависти. Приказывал сколько раз не лечить никого. Из молодых, ишь ты, холостой: кабы свою жену имел, не то бы заговорил; кутило—страсть! А всё же сила не в нём, а в мужиках, потому, коли баба родить хочет, становова ли это дело?

— А казённой бабки разве у вас нет? — Опарина засмеялась и надменно проговорила:

— И к чему эти модницы?.. Не понимаю. Вот уж именно, што казна сорит по-пустому деньги; мног у неё денег-то!

— Да ведь они учатся; им эти места дорого стоят. Ведь они, тётушка, из бедных и им не легко было прожить то время, в которое они учились, да и место не скоро получишь.

— А ты на деле узнай, да и толкуй. Я уж двадцатый год в город-то езжу и получше

твѣрего знаю,—проговорила сердито Опарина и ушла в избу.

Обедаѣть Опарина меня не пригласила, вероятно, на том основаніи, что больному человеку есть вредно; я не напрашивался. После обеда Опарина легла соснуть, проспала не болѣе получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была в хорошем настроеніи, и даже хохотала, разговаривая съ своей племянницей.

— Поди-ко, запряги бурка-то! — сказала Опарина девочке.

— Да я опять неладно...

— Ну-ну!.. Надо же ко всему приучаться. Слава Богу, съ невесту ростом... Пошла!

Девочка пошла во двор и встретила там мальчика.

— Ты што тут ковыряешь стѣну-то, дурак?

— Сама дуя!

— Пошелъ, пошелъ!!

— Да ты не деись. Сказу мамке-то... я... — мальчик заплакалъ.

Вышла Опарина на крыльцо, закричала на детей.

— Я, тетуска... мамка послая... А она де-лется... я разе...

— Ну?!

— Мамка лодит... послая.

— Родит, говоришь?

— К тебе послая... Посколяе, бает, поминать тожно.

— А, штоб вас!.. Только баловать... Пошелъ проворней: приду!.. Черти! — И Опарина ушла со двора, девочки тоже долго не было.

Опять скучно, как и вчера... Дѣлать нечего. Изба и пріют Опаринѣй казались мне

противными, так и хотелось скорее удрать отсюда; но что-то удерживало.

Опарина воротилась часа через три, запрягла лошадь в долгушку, положила в долгушку два лукошка с чем-то, один небольшой бочёнок и небольшую кадучку.

— Ну, оставайтесь, благословясь... В город поеду,—сказала Опарина, совсем готовая к отъезду.

— Возьми меня, я совсем здоров.

— Да тебе там что за надобность приспела?

— Ведь ты не надолго, а я бы поглядел на город.

— Места нету: самой кое-как и то присесть. Завтра или после завтра беспременно буду... А ты смотри, штобы всё было в порядке, слышишь? Задеру, коли што... — говорила она племяннице.

— Сколько же тебе за житьё-то, тётушка,—спросил я.

— А ты разве ехать хошь?

— Хочу.

— Так вот и пустили!—Она ушла во двор, а минут через десять поехала, говоря племяннице наставления.

Через полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью, и как пришла, так и легла, не раздеваясь, на скамью. Во всё это время я был хозяином в доме: щеголял в своём костюме, сидел у раскрытого окна с трубкой, хлебал щи, которые находились в печке, и даже читал Библию, которая лежала в горенке, на небольшом столике, под иконами. Но особенно меня занимали небольшие тетрадки, найденные мною в том же угольном столике

комнаты. Первые и последние листы были оторваны, прочие листы исписаны разными почерками, крупно, мелко, по печатному, косо и прямо. Тут означались имена и фамилии, вещь и цена, например: «Никофору Яковличу сена 1 р. 15 коп.»—и всё в роде этого. Немного страниц было пустых. Уплачены ли деньги—ничего этого не показано и не зачёркнуто. В иных местах было написано чернилами, две, три страницы залиты чернилами, несколько полулистов слиплись и пропитались салом, во многих местах ничего нельзя было разобрать, потому что или карандаш стёрся, или писано серыми чернилами и хотя крупно, но неразборчиво, в роде таких слов: *«аляси казу бракуй»* и т. п. Ни чисел, ни месяцев, ни даже праздников нигде не обозначено. Кроме этого, я обратил ещё внимание на стену против окна, у которой стояла кровать с периной, вероятно, принадлежащая Опариной. На этой стене в нескольких местах начерканы углём палочки, косые и кривые, и крестики. Несколько палочек и крестиков были уже зачёркнуты. Я вывел то заключение, что Опарина грамоте не умеет и здесь, вероятно, что-нибудь на память записывает.

Вечером погода стояла хорошая, и я сидел большею частью у открытого окна, так как солнце светило на противоположные дома. Село было оживлено более обыкновенного, так что на улице играли ребята и сидело несколько мужиков кучками в разных местах; у своих или соседских домов сидели женщины с рукодельем или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между со-

бою о чём-то не очень весело. О чём они говорили—я этого не слышал. Но вот из калитки противоположного дома вышел старичок в синей рубаше, опоясанный плетёным из красной шерсти поясом, в таких же синих с заплатами штанах и в лаптях на ногах. Лицо его было очень бледно, волосы и борода седые; сам он был сгорблен, и его немножко трясло. Отойдя немного от калитки, он сел на скамеечку, перекрестился и подпёр голову руками.

— Дедушка Иван, подь в компанство! Чего сидишь один-то?—кричала какая-то женщина старику. Дедушка Иван посмотрел на кружок, заключающий в себе двух женщин и трёх мужиков, и ничего не сказал.

К старику подошла молодая женщина, держа в левой руке пряжу и, поглядев кругом, что-то шопотом спросила старика; тот только рукой махнул. Женщина подсела к нему, и между стариком и женщиной начался разговор шопотом. Я несколько раз замечал, как женщина указывала рукой на дом Опариной, как раз на то окно, у которого сидел я, и старик только взглядывал по направлению руки, сжимал рот и никаких при этом особенных движений не делал.

— А ты слышал: прибыль Бог послал Анне-то Федосеевой,—проговорила вдруг женщина громко.

— Ужли родила? Когда? — спросил старик, широко взглянув на женщину.

— Никак в обед Бог дал,—сынок... Опариха была.

— Да ведь уехала Опариха?

— Уж она своё дело справила. Была я сегодня у неё, у Федосеевой-то: хомяк—мальчонко-то!

— Ну, дай Бог.

— Ты бы зашёл бражки выпить! А? Заходи!

— Покорно спасибо.

Женщина отошла прочь, и что-то часто глядела на мою особу.

Хотелось мне очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти—значило нарушить беседы крестьян: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для них человек совсем посторонний. Кроме того, я ещё не знал отношений крестьян к моей хозяйке Опариной. Так я и просидел до заката солнца, когда на улице уже не было ни души.

Я уже хотел затворить окно, как услышал мужскую брань и визг женщины. Разобрать сначала не было возможности, потом я из криков понял, в чём было дело. Крестьянин, изрядно выпивший, тащил в волость свою пьяную жену, которая украла у него последние два рубля, и он нашёл её в кабаке. Что там она делала — я не понимал, но, надо полагать, что что-то нехорошее. Муж тузил жену, жена ругалась и кричала: «зарезу, варнак, зарезу! ты меня в гроб вколотил,—зарезу!». А так как в окнах показывались мужские и женские головы и оттуда слышались одобрения, относящиеся к обиженному мужу, то обиженный муж останавливался и кричал:

— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики... Господи!

— Хорошенько её... Она сегодня как Опариху при всём мире чествовала... Хорошенько!..

— Зарежу!! спалю село...—визжала отчаянно женщина.

— Веди её... ничево!..

— Прислушайте её речи... Будьте свидетелями... благодетели!..

Против церкви несчастную женщину уже тащило двое мужиков; она рвалась, билась, голосила; муж бил её верёвкой.

— Вот наказанье-то... Господи!—говорили, качая головами, зрители и запирали окна...

В одном окне, недалеко от церкви, показалась голова мужчины, с волосами, заплетёнными в косу.

— Што ж ты её бьёшь, мошенник,—крикнуло лицо.

— Отец Василь... право...

— Пошёл спать, свинья... а не то самого в волость запереть велю!

— Он меня погубил... истребил совсем... кровь!..—выла женщина.

Я закрыл окно и хотел идти на улицу, чтобы защитить женщину, но мне пришла в голову мысль: могу ли я тут помочь ей чем-нибудь, когда и она пьяна, и муж её пьян, и все соседи вооружены против неё?.. Так я и оставил своё намерение. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хозяйка рассказала мне, что эта женщина испорченная; теперь я увидел, что в селе все против неё, муж ведёт её в волостное правление за кражу у него трудовых денег, которые, может быть, составляли весь его капитал, и за какое-то другое прегрешение... Вероятно,

не она сама дошла до такого положения, что все против неё, и что заставляет её быть такою, а довело же её до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будет дальше с этой женщиной? Во сне мне мерещилась эта сцена, и казалось мне, что эта женщина горько раскаивается перед начальством во всех своих делах, просит прощения и ещё чего-то хотела бы она попросить, да не знает, чего бы такого...

Встал я при восходе солнца, разбудил девушку, взял по её указанию набируху и пошёл за грибами. Но когда я вышел за ворота, то решительно не знал, в какую сторону идти. По счастью, из одних ворот выехал в телеге крестьянин. Я спросил его.

— По грибы-то, поштенный, не близко: вёрст пять будет, да и тут ходьба-то через речку Малиновку.

— Не пойдёт ли кто из ваших?

— Из моих-то двое ушли. А вон к Половинкиновскому дому постучись, может старуха Маремьяна подёт. Она поздно уходит.

Я поблагодарил крестьянина и подошёл к указанному дому.

Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибоискания, сегодня идти не может, к великому её сожалению, так как у неё что-то неловко под сердцем, и она, было, посылала за попом, да поп уехал ночью в деревню Загibaldiху. Молодуха сказала мне, чтобы я попросил Степаниду Игнатьевну, что живёт напротив, чтобы она отпустила со мною своих парней. Я так и сделал. Оказалось, что парни сегодня поедут на

покос и что если мне так желательно идти в лес, то я один могу идти, так как я не маленький, или бы мог взять с собою племянницу Опарихи, у которой я живу. Всё это говорилось коротко и как-то неохотно.

Делать нечего, поплелся на-удалую. При выходе из села, я увидел впереди женщину с лукошком на спине. Я ей крикнул раз, крикнул два, пустился в бег—кое-как женщина остановилась. Она была не молода; лицо её было изнурено, глаза заплаканы. Я не стал тревожить её и, при входе в лес, повернул от неё направо и ходил всё больше по краю и редко-редко заходил вдаль, опасаясь потерять из виду пашни.

О своём походе за грибами, о том, как приятно быть в лесу одному, говорить не стану: это предмет известный. Но вот я вышел из лесу и увидел, что у ржи сидела та же самая женщина. Её плетёное лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, из которых верхний был гораздо шире нижнего, потому что в лукошко были воткнуты свежие прутья рябины, а меж них переплетались такие же прутья и служили продолжением лукошка, так что, будь у этой женщины желание собирать грибы целый день, то она, вероятно, увеличила бы лукошко аршина на два. Около неё, на траве, лежало десятка три красных грибов, которые, по всей вероятности, не входили в верхний этаж лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ног была изранена во многих местах, и она теперь вытаскивала из левой ноги занозу... Я присел недалеко от неё и закурил трубку. На вопрос мой, как она может ходить босиком в лесу,

где почти на каждом месте лежат сухие прутья, сосновые иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не ответила и на замечание, что сегодня день жаркий. Поэтому продолжать какие бы то ни было вопросы мне было неловко, и я счёл за лучшее идти домой.

День был действительно жаркий, тем более было жарко мне в моём длинном пальто, похожем на халат; мне хотелось пить, а воды не было. Но всё-таки здесь дышалось лучше, чем в душном городе. Идя между двумя пашнями, я вдруг потерял из виду село. Оказалось, что местность, по которой я шёл, была низкая. Наконец, выбрался я на ровное место. Церковь наискось, левее. Налево, почти в ногу со мною, шла неразговорчивая баба: я видел только её голову, повязанную платком, и верх лукошка с плотно уложенными в нём грибами. Вскоре я потерял её из виду, но когда вышел на только что унавоженную землю, увидел опять ту же женщину, сидящую у одного обожженного пня. Она упирала голову обеими ладонями и горько плакала.

— Тётушка! о чём ты плачешь? Аль болит что?—спросил я, подойдя к ней.

— Ох!—простонала она и пуще прежнего заплакала.

Мне хотелось узнать причину её горя, но я не знал, что сказать ей. Вдруг она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернулась, минут с десять проглядела на одно место и вдруг кинулась мне в ноги и проговорила:

— Не освободишь-ли ты, кормилец, сестру-то мою, Дарью Егорову? Спаси, кормилец,

по гроб буду за тебя Царице небесной молиться, матушке-то нашей!

Большого усилия мне стоило уговорить женщину сесть; я злился на то, что остался у Опариной: пошёл по грибы и теперь должен разыгрывать роль чиновника.

— Што, разе твоя сестра худое что сделала?—спросил я её.

— Ой, ни в чём неповинна, как перед Богом истинным... Перед небом, што перед престолом, говорю... Всё это от него, от мужа, варвара, да от злодейки Опарихи жизнь такая... Всё он... Освободи ты её... Стегать её хотят.

— Если что могу—сделаю, только на меня ты много не полагайся: потому я человек не служащий, а живу здесь потому, что захворал дорогой, а раньше этого и вовсе не имел никакого намерения даже и мимо вашего села проезжать.

Женщина смотрела на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла из моих слов.

— Он, муж-то её, да злодейка Опариха все жилы, проклятые, вытянули из нас.

Мы несколько минут молчали. Я не знал, что говорить, о чём спросить её, и вдруг сказал:

— Чем же он и Опариха обидели вас?

Женщина только охала. С большими усилиями рассказала она мне целую историю, которая, как я понял, была такова:

Отец их был волостным старшиной в то время, когда они, сестры, были молоды. Братьев у трёх сестёр, живших душа в душу, не было; а мать в то время, когда их уже прочили в невесты, т. е. на пятнадцатом году, была не род-

ная, но мачеха, и, само собой разумеется, не имела об них такого попечения, не любила их и не заботилась об их нравственности, как родная мать. Поэтому в доме часто случались драмы такого рода: мачеха заставляет падчериц что-нибудь делать—они вон из избы к подругам, откуда мачеха нередко прогоняла их с криком, бранью и побоями, чем попало—что, разумеется, немало бесило девушек, забавляло парней, а от этого взрослые люди села считали дочерей старосты за отпетых девушек, у которых будто бы не было ни стыда, ни совести. Но всё это была чистейшая ложь, потому что девушкам только и было радостей, что у подруг, где они, и то только на вечерках, играли в разные игры с парнями. Отец был пьяница; он вполне верил жене и даже боялся её по одному обстоятельству, которое рассказчица не хотела выдать на свежую воду. До семнадцатилетнего возраста житьё сестрам было каторжное. Не удалось им выйти замуж по своему желанию. Мачеха сказала своему мужу, что надо наперёд столкнуть замуж старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за её хорошего знакомого десятского, у которого в селе в то время был постоянный дом и который, независимо от своих служебных обязанностей, исполнял тогда даже почтовую гоньбу. Возражения и слёзы Дарьи против этого не были приняты во внимание, и Дарью обвенчали насильно, но в первую же ночь молодой улизнул от жены, что весьма удивило поселян и разозлило старшину. Но каково было посрамление молодой; над нею смеялись все девушки, все парни и, в особенности, тот, кого

она больше всех любила. Дарья, впрочем, долго не думала и сама стала пропадать из дому. Начались безобразные ссоры, брань, побои. Между тем, всё произошло вот отчего: десятский просил от старшины приданого тысячу рублей, на которые хотел расширить отправление почтовой гоньбы и прикупить несколько десятков десятин хорошей земли в таком-то месте. Старшина обещал выдать ему эту сумму тотчас после венчанья, и так как между ними не было заключено никаких письменных обязательств, то старшина, по благословении молодых иконами, наотрез отказался от слова, отчего за ужином между тестем и зятем произошла драка, после которой десятский и удрал из села в город со вдовой Опарихой, а через неделю прогнал от себя жену и стал жить открыто с Опарихой. Потом он поссорился с Опарихой и взял к себе Дарью, и когда его сделали старшиной, он стал обращаться с ней ласково, говоря ей, что он dokonал-таки её родню тем, что отца за разные подлоги сослали в Сибирь, а мачеху он прогнал из дому, и она неизвестно куда потом скрылась. Всё-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама рассказчица замуж не вышла, потому что её жениха сдали в солдаты, и он неизвестно где пропадавал несколько лет, и хотя потом и воротился на родину, но прежние привязанности и отношения называл глупостью и теперь на неё мало обращает внимания. Третья сестра тоже вышла замуж и жила довольно сносно, но назад тому три года умерла от родов. Так и билась Дарья несколько лет, дела мужа её пошли всё хуже и хуже; продал он всех лошадей, стал пьян-

ствовать, бить жену, наконец, его сменили с должности, описали за казённые деньги всё его имущество и посадили в острог. В это время Дарья и рассказчица жили где Господь Бог приведёт и где добрые люди позволят. Из острога муж Дарьи выпущен недавно, несколько месяцев занимался конокрадством и теперь кое-как занимается извозом. В селе у него нет ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живёт он у своего дяди, жене ничего не даёт, и потому она бедствует ужасно, и кусок хлеба достаётся ей горькими слезами.

— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля?—спросил я рассказчицу.

— Врёт! врёт он, аспид! Какие у него деньги?

— Да, ведь, ты говоришь, он извозом занимается, стало быть, у него деньги могут быть.

— Каки деньги, коли он приезжает пьян и побирается у дяди. А вчера приехал тоже пьян, ну и пошли они с дядей в кабак... тот тоже не пролей капельку. Ну, оттуда приходят пьянее вина и давай искать Дарью, а Дарья только што в кабак нанялась за два цалковых, на своих харчах. Он её и давай бить, и потащил в волость.—Заступись ты, родной!—прибавила в заключение рассказчица.

Я не стал больше расспрашивать эту женщину и не знал, кому больше верить: ей ли, или тётушке Опариной. Мне всё-таки казался этот последний рассказ более правдивым, и я решил хлопотать за Дарью у Опариной. Мы пошли молча домой.

Опарина была уже дома в горенке и перебирала вещи в сундуке. Увидев меня и оставив незапертым сундук, она подошла ко мне с тетрадкой и, не обратив никакого внимания на грибы, сказала:

— Ну-ко, погляди, что тут наворакошено? *).

Я взял тетрадку; тетрадка немного засаленная; в ней написано то же, что и в тех тетрадках, которые я видел вчера.

— Огурцов кадка 57 коп.,—читал я.

— Ну, а сметаны?

Нашел сметану,—2 рубля.

— Как так?

— Так.

— Да, ведь, он писал: два двенадцать.

— Тут только два.

— Не врешь?

Я подтвердил. Она стала бранить того, кто записывал, выхватила книжку и ушла в комнату. Немного погодя, мы опять стали сверять счёты,—оказалось верно.

— Один раз отрежь, десять примеряй. Нельзя!—сказала хозяйка довольным голосом и завернула тетрадку в тряпку, которую завязала в старенький платок, как будто тут хранились деньги.

— Ты, тётушка, и торговлей занимаешься?

— По маленьку... Бог милует.

— Я думаю, трудно одной-то за всем?

— Што делать - то. Вот и здешним - то нужно угодить, и в городе присмотреть. В городе-то у меня сестра торгует по малости, ну,

*) Написано.

а в ярмонки и я на базаре торгую, чем случится.

— Выгодно?

— Мало... Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить значит. Одново разу семян много затребовали,—ничего не дала—прогнали... Я к начальству: какое, говорю, право нашли твои подначальные деревенских баб обижать? Я здесь не первый год, говорю, торговлей занимаюсь, все мной были довольны. Я, говорю, мол, и до царя дойду. Ладно, говорит начальник, подожди. — Проходит день, проходит два, начальство ни шьёт, ни порет. Пошла опять; я, говорю, собираю не знаю чего...

— Справки, вероятно.

— Ну, ну! Я, говорит, постараюсь... А ярмонка-то через двои сутки кончается. На другой день я опять пошла к нему. — Дома, говорят, нет, уехал... Я через день к нему... Што, говорю, ваше благородие, правда-то где у те!.. — Я, говорит, всё сделал, што ж ты, говорит, поздно пришла? — Ну, значит, надо всегда давать?

Хозяйка стала хлопотать об обеде, который состоял из грибницы и жарехи из грибов же, а я пошёл в тот кабак, где, по рассказу женщины, сидела в последнее время Дарья.

Это была маленькая комнатка с перегородкой и стойкой, имеющая вид лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стеной в углу стояла полу-бочка, с воронкой во втулке и с медным краном внизу бока. На полу стояло несколько бутылей, два-три полунштофа и несколько пустых кусушек. Больше ничего не было. При моём входе в

лавочке не было никого, и я, простояв минуты две, удивился простоте сельских жителей. Стал я кашлять—никто нейдёт; отворил два раза дверь и хлопнул ею — то же. Наконец, я крикнул довольно громко: хозяин!

Из-за перегородки показалась худощавая молодая женщина, и, позёвывая, спросила: што тебе?

— Однако, какие вы безбоязливые... Не боитесь, что у вас всю водку утащат.

— Не утащат!

Я попросил стакан водки и заговорил насчёт городской торговли вином. Женщина уверяла, что у них Бог милует, воров ещё не бывало, а так как в это время почти никто в будни не приходит в кабак, то она и дозволила себе немножко прикурнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придёт в кабак в это время, то не беспокоит её, а дожидается, и сам пить не смеет, потому что шила в мешке не утаишь. Только один кум её пользуется тем правом, что он, приходя в кабак, начинает бражничать; но он бражничает по долгу и не один.

— Это за что же, тётушка, вчера бабу в волость увели?

— А Бог их знает. Напасть одна. Муж пьяница, драчун... ну и опять, ему больше веры...

— Она у вас жила?

— Да где ж ей и жить-то больше, как не у нас, потому уж вся избитая... Всё Опариха.

— Опариха, говоришь?

— Ты хошь и у неё живешь, а я всё-таки её не боюсь, потому, как теперь я торгую водкой, так и она тоже торговка, и говорить я всё

могу. Што она прытка, это за ней пусть и будет, а што насчёт её лиходейства — шила в мешке не утаишь. Вот што... Все знают, што как муженёк-то её помер, она и давай примазываться за мужем Дарьи-то, в та поры, когда он ещё холостой был... Как, ведь, не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домом и владела... Ну, да тот ша деньги позарились, женился ша Дарье, да Опариха оплела его; так-таки и оплела. Чьи теперь у неё покосы-то да пашни?—Олексея. Чья лошадь у неё?—ево же. Вот она какая! Ну, разве жене это не обидно? Да она, я те скажу — хоть ты передавай, хоть нет—через него и в люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а как разорила, и знаться с ним перестала.

— Как же это она сделала?

— Как? Да так: как завидела она, что он на ней не женится, а на попятный двор от неё, она помалчивает, а потом и говорит: што же, говорит, Алексей Митрич, ты не зайдёшь пивка попробовать? Тот зашёл, стал плакаться на своё житьё. Она его ласкает... Ну, и пошло дело. — Денег ли надо, она даст, да не зря, а записку возьмёт и срок в записке покажет. Вот она какова!.. Тот всё брал, брал, да как попал в беду, то она ему и дай ещё денег под лошадь да под корову, а потом и предъяви записки куды следует. Ну, знамо, без денег не обошлось.

— Она, значит, капитал имела?

— Знамо, воровски жила... У нас-то украсть нечего, так в городе воровала, а в городе-то у неё сестра родная за солдатом замужем; ну, и хоронили концы, тем и торговлю завели. Вот таким-то манером она и за-

владела покосами да пашнями. А уж насчёт это... жуды как речиста, заговорит. Вот Олексей-то Митрев и пришёл к ней после острогу и давай корить её; а она на одну речь ему сто речей, ну, тот и присмирел; у неё же и занял опять под росписку... Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту он сбыл, другую завёл, значит потерял — ищи! Знать не знаю, говорит: у меня такая лошадь, а в твоей записке другая... Ну, значит, маху дала... Так она, значит, и разорила ево. А уж про Дарью и говорить нечего: так-то ли она на неё зло-вредна — беда!

— А давно лошадь-то потерялась?—Женщина посмотрела на меня подозрительно и спросила:

— А тебе на што?

— Нет, я так. Ведь мое дело стороннее.

— Да с месяц будет... Ты видел у неё лошадь ту?

— Плохо.

— А лошадь отличная: рублей пятьдесят, надо быть, стоит, а она на ярманке купила, говорят, за пятнадцать.

— Ямщики говорят, Опариха здесь в почёте.

— Да мало ли дур-то да простофиль... Оно конечно, своё добро даром отдавать не приходится, только уж она плутовата больно. Вот хошла бы к примеру: Кузьма Залыжных взял у неё пять мер овса...

— Своего-то не было?

— То-то, што сбился деньгами и закабалил овёс то ей же прямо с пашни. Ну, она записку с него: заплатить мол к Паске. Паска пришла, а у того денег нет.. Пиши, говорит,

новую... Тот с дуру-то и напиши... Ну, значит, и вышло две записки... Вот какова Опариха-то!.. И ей всё сходит, чтоб её язвило!..

На этом мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мне хотелось спросить её о её жизни, и я стал выжидать удобного к этому случая; только случая этого не представлялось, а расспрашивать её прямо ни с того, ни с сего, неловко.

По окончании обеда, когда Опарина наказывала племяннице, как какому-то крестьянину отмерять овса, так чтобы было не в убыток Опариндой или, попроще сказать,—обмерять, я вдруг спросил её:

— У вас, тётушка, на каком основании наказывают розгами женщин?

— На том, што обучать уму-разуму следует всякого!

— Ну, а если бы, к примеру, тётушку Опариху?..

— Этова не будет: я законы знаю. Знаю, што юные это отменено.

— Значит, коли отменено, наказывать противозаконно, а кто не исполняет закон, тот не должен ли отвечать?

— Да ты к чему эту историю подвёл?

— Слыхала ты: хочут стягать Дарью Яковлеву?

Лицо Опарихи немного передёрнулось, глаза сверкнули.

— Откуда это ты слышал?

— Все говорят,—сказала племянница, перемывая чашки и ложки.

— Не тебя спрашивают! — крикнула хозяйка.

Я рассказал вчерашнюю сцену.

— Ну, этому не бывать!.. Вот ещё новость!.. Какое они такое право взяли баб стягать?

— Да тебе-то тут што?

— Разе мне не обида? Разе это не обида всем бабам, коли над ними мужики будут командовать так и издеваться?

— Да, ведь, ты на неё сердита?

— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я без чувства?

Хозяйка торопливо оделась и скоро вышла; она скрылась за церковью.

Вечером на поляне, перед домом Опариной сидело несколько женщин; сидели они в различных позах, полукругом, с работами, а у завалинки дома Опариной сидели девочки с грудными ребятами, заменяя своими особами нянек, около них же тёрлось штук шесть детей малолеток. Молодое поколение говорило не громко, потому что занято было играми в клетки, потчеванием друг друга глиняными лепёшками и т. п. Налево от молодого поколения лежали на поляне холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумели по обыкновению, а вели себя чинно, вероятно потому, что тут ораторствовала Опарина. Она уверяла, что гораздо лучше утыкать дома куделей, чем мохом, потому что от этого в избах теплее делается; смеялась над одной соседкой, что она, не имея хорошего рассудка, вздумала положить паклю на каменку. Всё это она разъясняла в течение получаса, останавливаясь только тогда, когда её перебивали, и хотя в её словах ничего не было нового и интересного, но женщины слушали её, как я заметил, с удо-

вольствием, часто отрывая глаза от работы; и когда она кончила, они не нашлись сделать какое-нибудь возражение Опариною.

— Бабы, не найдётся ли у вас излишку пакли? — спросила вдруг Опарина.

— Тебе на што?

— Надо. В город один купец просил пуда с два. Так... на пробу.

Разговор перешёл к пакле. Оказалось, что теперь пакли едва-ли у кого можно найти. Одна женщина сказала, что у неё хотя и есть немного этого товара, но она дёшево не отдаст, тем более потому, что у неё нет льну, а лен сеять они будут года через два, когда справятся. От пакли перешли к тому, что нынче торговля чем бы то ни было стала не в пример хуже прошлых годов, народ стал собака, полиция придирчивее, так что хоть и не ездят в город. Только вот ещё ярмонкой и можно кое-как биться, да и тут поганые татаринки стараются завладеть первыми местами, отбить их, бедных женщин, на задний план, и продают гнилой товар, перекупают лучшее, и их же, опытных торговок, ловко нагревают. Против этого Опарина смело возражала, что если кто не умеет взяться за какое-нибудь дело, тот не должен и браться за него, потому что он смешит народ и делает убыток своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примерами, но примеры разбивались Опариною различными доказательствами из своей практики; тогда женщины стали корить её разными плутнями, и дело чуть не кончилось небольшой ссорой, но Опарина незаметно перешла к Дарье Яковлевой, показывая

на неё, как на женщину, не умеющую ни за что взяться, отчего из неё впоследствии нельзя ожидать ничего хорошего.

— Да виновата ли она-то? — возразила вдруг одна женщина.

— Сам плох, так не подаст Бог. Разе я не так же бедна была в молодцах-то? Разве вы тоже из богатых семей-то? Вспомните-ка прошлое время!

Несколько женщин вздохнули и вполне согласились с Опариной в том, что действительно Яковлева отчасти сама виновата; что она ещё в девчонках избаловалась. Женщины три, неизвестно почему, стали гулять по домам своих детей. Затем Опарина что-то шепотом сообщила своим подругам, отчего одни из них вытянули лица и покачали головами, другие ударили по коленям. Заметно, что сообщённое Опариной известие женщинам пришлось не по-сердцу. Вдруг они заголосили все, но я не мог понять смысла этого митинга, только слышал: — врут они всё! этому не должно и быть! на то разе мы дались им?

По всей вероятности суждение происходило насчёт Дарьи Яковлевой.

За ужином, состоявшим, как и обед, из грибницы и жарехи, я расспрашивал хозяйку о жизни крестьян и о том, какую выгоду приносит им земля. По её взгляду, жить в селе очень можно: земля хорошая, а главное, нужно не лениться. Положим, оброки и разные повинности ныне большие, но она о нынешнем времени умолчала, а говорила, что при прежних порядках некоторые крестьяне сколачивали-таки капиталы и даже уходили в города и, как на факт, указывала на одного кушца, ушед-

него из села в лаптях и теперь ворочающего большими капиталами. «На всё это, говорила она, нужны сметливость, терпение и ловкость, нужно испытать всякие лишения и неприятности и, когда дела будут идти в гору, не нужно зазнаваться или выходить из себя.» Но при этом о самой-себе она ничего не сказала, даже не указала на себя примером. Потом она круто повернула к тому, что их село, находящееся от города К. в двадцати верстах, может иметь выгодную торговлю с городом, если бы за торговлю принялись женщины. По её понятию, мужчины должны работать в селе, напр. ухаживать за пашнями, прихватывать работников из разных праздничатающихся людей, которые целыми десятками шляются по миру, могут приучать детей к работе, а женщины должны торговать в городе, тем более потому, что земля даёт с избытком то, что посеешь, только пользоваться этим, по мнению Опариной, мужики не умеют, потому что многие из них или находятся в кабаке у кулаков, или лентяят и пропивают излишние деньги в кабаках.

— Вот, например, я, про меня все чешут языки и все меня не любят от зависти. Особливо ни одна баба не скажет про меня постороннему человеку хорошего и приплетёт непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вон и такие, которые даже Яковлевской Дашкой попрекают, будто она через меня такая сделалась... Иной раз, так до того разозлят в глаза, что даже заплачешь от такой напасти... Ну, значит, креплюсь. А не крепись я, да думай, что они меня спалят или что худе над моим хозяйством сделают,—всё вверх

дном пойдет. Ей-Богу! А я на всё плюю и им же добро сделаю, потому как бы худ ни был человек, а всё же после пригодится и благодарность к тебе будет иметь. Ничего нет хуже в жизни, судырь ты мой, как эта болезнь. Шесть раз я после мужа в лихоманке была, шесть раз соборовалась, а не померла... Видно, Господь Бог терпит моим грехам и для какой-нибудь пользы длит мою грешную жизнь. А они што?.. хоть бы одна пришла проведать... Вот только племянница и служит мне, да и ту сбивают: иди, говорят, к матери: Опариха тебя изурочит... А разве я ей добра не желаю? Што она в городе-то выживет? чему научится? Ещё, пожалуй, пельмяницей, али калашницей сделается... Да и какие ноне нравы в городе! Опарина перекрестилась, потом обратилась к девочке, которая вязала варежку:

— Поедешь в город-то, как бабы говорят?

Щёки девушки покрылись румянцем, она робко сказала: нет.

— Да ты у меня не смотри так-ту. Знаю я по себе: без меня на голове ходишь, а при мне в угол. Поди-ко, принеси пивка, да не кочайся в потребе-то. Слава Богу, наелась поди.

Девушка вышла.

— А хитрая девчонка, нужды нет, што мала! Нужды нет, што я ее взяла полтора года—все порядки переняла, всё по моему делает. Не беспокойся, лишнего не передаст!.. Ну, в город-то я ее не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной раз мужики заезжают за овсом. Ну и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей — спрячет, так что я уж ей сундучек купила... А тоже ведь и любит меня она, нужды нет, что иной раз губы надует.

— Вы, тётушка, иногда уж очень сердиты бываете, — заметил я.

— А ты думаешь, так им и дай волю! ты говоришь: принеси чайку, а она сидит. Ну, разве так науку нужно производить? Какая она после этого мать будет.

— Лаской надо.

Опарина захохотала и сказала: — откуда ты это ласки-то найдёшь? Разе меня лаской вспоили, вскормили? разве меня теперь ласкают, коль не огорчают тебя на каждом шагу? Ласка што значит? — поблажка... А как сделал поблажку раз, другой, да как будет дидятю чужих советов слушаться, тогда придётся самой всё делать. А я не так богата, штобы дармоедов держать; это, может, у богатых господ так принято... но как рассерчаешь, тожно и не удержишься — и поколотишь, а потом и приласкаешь. Вот они и боятся и слушаются. К примеру, меня-то как приучали. Не забыть мне...

В это время девочка принесла жбан пива. Хозяйка налила мне полную глиняную кружку, выпила и сама залпом кружку пива. Девочка села недалеко от тётки. Ей тоже, как видно, хотелось или пива выпить, или послушать, что будет рассказывать тётка. Становилось уже темно. На улице никого не было видно; в домах огней тоже не видать.

— Ты што же сидишь, полунощница! Когда так и за делом спишь, — проговорила обыкновенным тоном хозяйка девочке.

— Я... так... не хотца спать-ту, — проговорила девушка, закрывая рукою рот, который при последнем слове широко раскрылся.

— Пошёл, дрыхни! — сказала строго хозяйка.

Пока девушка стлала себе постель в горенке, хозяйка и я молчали.

Хозяйка ещё выпила пива и мне налила кружку.

— Что-то мне спать неохота! Оказия!

— Ты даве начала было о своём житье говорить, — сказал я с сочувствием.

— Это насчёт воспитания? Истинно воспитывать нельзя, как строгостью: за всем надо самой присмотреть, потому кто припасает-то? Я припасай, а другой мытарь?—дудки!

Вот, к примеру, моё дело. У родителей-то у моих семья была большая, а кажись, окромя меня, никому не было столько чижало. Вот перед истинным Богом! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голос её дрожал, как будто ей было обидно). День и ночь... жууды!! Никогда не знала покою с малолетства. Перво-на-перво—ребята. Кого качай, с тем водись; то прибери, другое; то сделай, пято-десято. А жили некорыстно, дай им Бог царство небесно, хоша и считались за зажиточных, потому отец-то, не тем будь помянут, хоть и испивал малу-толику, но всё ж гоношил *) по хозяйству. Свои напщии имели и ладненько продавали в городе: бывало, в зиму-то мешков десятков продаст и зашибёт рублёв тридцать, потому шненичная-то мука в та поры была три с половиной али четыре за мешок в пять пудов, а теперь вон она по пяти и по шести скачет. А мать-то моя продавала тоже в городе яйца, масло и кашусту, только не умела бе-

*) Старался.

речь деньгу: как выручит рубля три, четыре и давай покупать ситцу али пряников... И колачивал же её за это отец, крепко колачивал, хоть бы и не следовало, потому огород или скотинка и птица завсегда должны принадлежать хозяйке; опять надо и то в расчёт взять, сам-то он испивал же от своих трудов праведных! Ну, а всё же она тратилась не в меру; и мы, по милости её, никогда, что есть, яиц не ели. Впрочем, что об этом и говорить? Бывало, поешь чего Бог даст, а я так до семнадцати лет и терпеть, что есть, не могла яиц. Нутро не принимало. Сперва я всё с ребятами няньчилась да дома управлялась, потому, когда мать в город уедет, всё хозяйство на мне лежало. Мать говорила, что я к хозяйству больше таровата, а вот сестра Катерина-то—к торговле. Только я замечала, што сестра Катерина ни к торговле, ни к хозяйству не смыслёна; а мне больно хотелось торговать, только мать не хотела. Ну, я и начала производить торговлю в селе. Уж больно мне смешно, как вспомню, как я глупа была в те поры. Мать уедет, я отдекаюсь дома и бегу к подруге или подруга ко мне прибежит, и говорю: давай меняться! Та тоже: ну, давай. А менять-то было што? бусы, суперик *), платок... да мало ли што?.. Ну, потом и говорю: сколь придачи? Так и менялись!.. А всё эти придачи и другие слова я от матери переняла. Али пойдём в огород и давай рвать морковь и давай меняться. Видишь ли, я уж очень репу любила, а подруга морковь... Потом мать начала меня брать в город, ну, там я и узна-

*) Перстень.

ла, в чём суть. И толковать об этом нечево. А тут вышла я замуж, судырь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу, порядки там не те. Родня большая, каждый в свою сторону да в свой карман тянет, а толку мало, бедность обуяла всех... Ну, дело молодое, хочется повеселиться, ан нет, — делай. Хочется самой быть полной хозяйкой, — нет, тут все хозяйки. Обида просто берёт, а муж смирный, олух; только когда пьян, тогда и боек, тогда и драться лезет... Так я и промаялась воюемь годочков, и эти года я была совсем пустяшный человек, потому ровно ничего для себя не сделала; даже торговлей заняться не могла — нечем было торговать-то. А сестра в то время вышла замуж за вахтера. — Ну, а как помер муж-то, я словно воскресла. Перво-на-перво же — своей коровёнки нет. А от мужа мне досталось десять рублёв: в шапке нашла, — запиты были; ну, я и не знаю, куда мне деть деньги, что с ними делать. На ту пору и подвернулся Олексей Яковлев. Он раньше на мне жениться собирался, да потом надул. Пришёл он ко мне, братец ты мой, в дом. А я жила тогда в своём доме, сам муж строил, только тогда одна изба была, а уж это я всё после состроила сама. Ну, я его шивком, он так и так, говорит, лебезит... Ну, дело молодое... Пропью... На духу всё прощено... Вот я ему и дай под расписку денег, никак шесть рублёв. А тут дело подошло к лету, поспели огурцы, я в Т., да одна, на яковлевской лошади... Уж и наimalась же я страстей!.. Воры напали, да видят огурцы, хотели лошадь взять, да уж только Никола святытель спас... Двой сутки прожила в Т., кое-как продала; только три цалко-

вых и выручила. Ну, всё ж хоть и немного, а я была больно рада и стала потом ездить в город: почти всё, что было в огороде, перевезла в город и деньги копила; только вот Яковлев и высасывал их. Так я и сделалась торговкой и это нашим-то не больно сперва нравилось, а потом и бабы стали поручать мне продавать яйца, масло, капусту. Так что иной раз я с тремя возами катила в город с одними мальчишками. Купила я корову, овечек, куриц, свиней, ну, тогда дело пошло ещё лучше, только случалось воровали скотину. И всё же гляжу, возни много, одной так трудно, что не приведи Бог, а прибыли мало, потому не я одна торгую, да и крупного товару у меня нет. Стала я подумывать, как бы мне постоянно торговать в городе. Ну, и нельзя: в селе у меня всё хозяйство, а в городе надо начинать сызнова. Так ничего и не выдумала и маялась много лет. Наши-то бабы много мне доверяли, и я без обмана исполняла порученья. А это много значит, и они ещё больше стали располагать мной, да на меня надеяться: нет у кого муки, ко мне бегут, потому отчего не дать своему человеку — не обманет, отдаст; а если и муку не возвратит, я сеном возьму, али овсом, али чем иным. Тоже, например, мужику нужен хомут, а денег нет. Ну, и плачется. Я говорю, ничего, подожди, на ярмонке дешевле купим, а ты мне только расписку пиши, после сквитаемся. Ну, а как не заплотит, и другим возьмём. Да, судырь ты мой, много возни нужно с нашими мужиками! Когда нужда, он и божится и плачет, что вот, как только поправится, со сторицею возвратит. А когда станешь просить своё, он же и обижает-

ся. Ну, подумала, подумала я: што, если я всё таким манером буду упускать свои выгоды, не получать долгов, эдак сама обеднею. Положим, нуждающемуся дать нужно, только он-то зачем обманывает да кривит душой? Ну, думаю, не буду я вам больше в зубы смотреть. Нашла я через сестру в городе человека: судейский столоначальник. Вот коли кто мне не платит денег, я расписку столоначальнику, мужика и потяну.—Ну, тот и пишет условие: поквитаться на овсе или ржи. Оно хотя и убыточно это для меня, потому я не могу определить: сколько измелется ржи, всё ж-таки что-нибудь да стоит, и мужик уж зимой меня не проведёт: покою не дам, как начнут молоть. А тут я и пашни, и покосы приобрела себе, и слава те Господи, прибыль есть.

— Как же ты одна-то управляешься?—спросил я.

— Как? Ведь, разе ты не знаешь,—мы наши работы справляем помочами; ну, а мне многие должны, многие и не откажутся, потому грех, вот я и приглашаю: кои должны, долги зачитают работой, а кои не должны, тех удовлетворяю деньгами, подённо. Да деньги што! Помочи нужно только справить хорошенько: угощение надо сделать. Ради одного угощения пойдут. У меня, что есть, и сеют, и пашут даром. Вот што! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лекарским искусством занималась, а мне этого искусства не передавала, а я всё-таки знала название трав и знала, какую она траву откуда берёт. Знала, што лечить не трудно, а тоже за лечение ей платят. Ну, как померла она, я и принялась за лечение скоро. Захворала

баба, по всему селу стало известно, а мне особенно; свекровь её приходит и спрашивает: нет ли, говорит, у тебя, Опариха, травки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слышала из разговоров от матери, какая трава от какой болести пользительна. Выздоровела баба. Ну, с тех пор и стали меня звать во все дома, и стала я для всех нужна. А тут вкоре и повитухой я сделалась. Тоже трудности нет большой; ничего худого не случалось, миловал Бог. Вот они все и знают чувство, видят, что у меня мужа-то нет, и пристают к мужьям: надо, говорят, помочь Опарихе-то. Да и мужья знают это, потому все мною от лихих болестей облегчение имеют. Ну, и вспашут, и посеют.

— Своим посеют?

— Дожидай! Нет, мужик тоже плут: мы, говорит, вспахать—вспашем, не большой расчёт, а засеять не можно, своё семя подай. Ну, да это так и следует.

— Ну, а как же ты кровь-то пускаешь? Ведь это вредно.

— И!.. кровь с жиру, али с застою. От чего болеть?—С крови.—Выцедил её, и легче. Да мне, судырь ты мой, сто раз выпускали кровь-ту!!

— То-то ты и худая.

— А разе... А тучный человек как помирает?.. Нет, самое главное—это кровь... Опять же, у мужа Катерины фельшар есть—друг-приятель—так он мне лекарства даёт. У меня, кажись, пузырьков тридцать есть... — Я, ведь, тоже и лошадей пользую.

— Много же у тебя дела-то,—сказал я после минутного молчания.

— Беда! И не поверишь, за все мои хлопоты и старания они мне все злом платят. Иной раз пьяный мужик так и грохочет на всё село: пиявка Опариха... А бабы все только до случая, чего-чего не говорят!.. А как кто захворает, или горе какое, идут, просят пиявку-Опариху. Вот какой крестьянский-то народ! — заключила Опарина и громко зевнула.

— Эх, я, как рассиделась-то! Темень-то! — сказала она и встала.

Было действительно темно.

Опарина зажгла сальную свечку и стала делать себе постель на полу избы.

— Ну, летом ты торгуешь овощами, а зимой чем? — спросил я Опарину.

— Зимой-то? А зимой я продаю муку, лён, масло, яйца, — да мало ли што?.. Продаю и сита. Только этим больше занимается сестра. У неё в лавке всё есть — только одной живой воды нет.

— И сено есть?

— Пошто сено? Сено ближние крестьяне продают; и я сеном не занимаюсь.

— Ну, а на ярмарке что продаёшь?

— На ярмонке? Продаю орехи и пряники: потому деревенские гораздо падки до этого товара. Да и ярмонка-то што? Только быками да лошадьми и торгуют, да вот разе ещё поганые татаришки старый да гнилой ситец продают... — А ты иди — спи! Не цельную ночь сидеть для тебя, — прибавила она сердито.

На другой день утром мы пили чай, — я за столом против хозяйки, племянница её поодаль на лавке. На замечание моё: зачем её пле-

мянница не сидит за столом, она сказала, что девчонка ещё мала и должна сидеть только тогда, когда будет совершенною невестою.

— Но, ведь, ты говоришь: без мужа жить лучше.

— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому, сам ты рассуди, какое житьё девке? Хоть где ни живи девка, а веры ей той нет, как бабе. И хорошего будь поведения, и тут насчёт поведения сумлеваться будут и надзору за ней больше. Да и какое житьё девке одной? С кем она посоветуется? И опять: разве возможно устоять девке от соблазнов? А баба не то: куды ни приди, везде всем равна; никто тебя пальцем не ткнёт и веры тебе больше. Тоже и вдова... и вдова тоже баба, потому замужем была.

Опарина силилась объяснить положение вдовы, но у неё ничего не выходило, кроме того, что вдова была замужем и потому ей более должно быть доверия.

Шёл дождь. По улице шёл полупьяный десятский и, остановившись перед домом Опариной, сказал что-то не громко. Опарина отперла окно и крикнула:

— Куда ты?

— Скликать! Дашку стягать хотят.

Опарина с негодованием хлопнула окном и стала скоро убирать со стола чашки.

Я спросил у неё, где волость, и пошёл туда.

За церковью стояло ещё несколько домов, и из них особенно выдавались два дома: один, пятиконный, стоял на площадке против церкви. Дом был построен недавно и по новому фасону. У окон были расписные стомаи, трубы обелены. Наискось этого дома, через

дорогу или улицу, был дом старинного фасона, старый, чёрный, с провалившейся до половины крыши. Над окнами, с разбитыми стёклами, болталась обелённая доска, держащаяся на одном гвозде, с надписью — *волостное правление*. В доме был гам и крик. Ворота были распорены, да они, как надо полагать, с давнего времени и не запираются, потому что половинки их держатся только на верхних болтах и подпёрты. Во дворе амбар с двумя дверьми. В этом амбаре, как я узнал после, содержатся виноватые, в одной половине — мужчины, в другой — женщины. Окон ни в том, ни в другом отделении нет. Во дворе грязно, воздух тяжёлый, гнилой... Вошёл я по небольшой лесенке на крыльцо, потом вошёл в тёмные сени, из которых ведут двери во внутрь справа и слева. Направо двери отворены. Там, в небольшой комнатке, с одним окном и с облупившеюся и заплесневевшею во многих местах штукатуренною стеною, стоял небольшой стол простой работы; на столе и на окне сидели в рубахах крестьяне, двое из них курили махорку. Я поклонился им; спросил — здесь волостное правление? и получил утвердительный ответ. Никаких украшений в этой комнате не было, кроме одной рамки между печью и дверью, которою я вошёл в комнатку, рамки с разбитым стеклом. В рамке ничего не было, и я не мог понять, для какой именно цели повешена она; да надо полагать, и крестьяне об этом не знали.

Другая комната, в три окна, довольно просторная, но узкая, с такими же ошипанными и заплесневевшими стенами и потолком, с чёрным от грязи полом, только и отличалась

от первой, что простором да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столов. За одним столом сидело два человека в сюртуках, с длинными волосами и с плутовскими физиономиями, за другим сидел солдат и писал грамотку двум крестьянам. Этот солдат, как я узнал тут же, принадлежал к составу канцелярии волостного правления. А узнал я это из того, что вышедший из угловой комнаты писарь, молодой, бойкий господин, в лёгком летнем пальто и скрипящих сапогах, приказал ему переписать какую-то бумагу. В этой комнате было человек до тридцати крестьян, большею частию в рубахах и шапках. Половина из них сидели на полу у стен, половина, собравшись в небольшие кучки, о чём-то горячо разговаривали. Некоторые курили табак. Здесь происходил такой говор, что разобрать решительно ничего невозможно; никто не стеснялся ни крупными выражениями, ни языком, ни руками, всё равно, как на улице; всяк как будто бы чувствовал себя в своём доме; только из того, что при появлении волостного писаря в этой комнате или при проходе его в первую комнату народ немножко утихал, а некоторые даже вставали с полу, можно было заключить, что они у начальства.

Третья комната отличалась от первых двух тем, что, кроме табачного дыму, в ней пахло ещё и водкой. Действительно, я увидел на окне полуштоф с жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и редьку. В этой комнате стояло два шкафа, окрашенные на скорую руку красною краскою, и по середине большой стол. За столом у стены стояло три стула, из коих один, крайний к окну, имел подушку, об-

питуемую кожей. На столе были разбросаны бумаги, паспорта, две какие-то книги; писарь сидел на краю, противоположном той стене, у которой стояли шкафы, и что-то писал; перед ним стояли трое крестьян.

Простоял я с четверть часа, а начальство не являлось. У меня от дыму начала болеть голова. Крестьяне на меня не обращали внимания, только писарь, проходивший мимо меня, косился.

Наконец, явился старшина: низенький человек, лет сорока, с лысой головой и большой чёрной бородой. Он был не толст и не тонк, и не щеголял костюмом: на нём был надет чёрный зипун, опоясанный красным кушаком. Физиономия его выражала тупость и дикость. При входе он крикнул, вытащил из-за пазухи ситцевый грязный платок, отёр им лицо и, протолкавшись в толпу, пробасил:

— Васька подле-ец!—Затем он начал тужить одного крестьянина, стоящего ближе всех к выходу.

Народ захохотал.

— Илья Петрович...— произнёс получивший удар.

— Зашибу! Зашибу!!

— Гляди, Кузьму за Ваську принял?—сказал, смеясь, молодой крестьянин.

Народ опять враз захохотал.

— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ах ты, ешь-те лепший... Кузьма?.. Ну, просим прощения,—говорил старшина и при последнем слове низко поклонился Кузьме.

— Ничего; зачти за недоимку.

— Целуй! Друг!—говорил старшина и стал целовать Кузьму.

— С похмелья, аль пьян?—спросил старшину народ.

— Видно грех попутал—пьян никак... Смотри, не грохнись,—острил молодой крестьянин.

Народ захохотал.

Старшина мотнул головой и пошёл в третью комнату.

— А, Василь Васильич!.. Сто лет здравствовать, три пьянствовать... Водка-то есть ли?—и старшина ткнулся животом в стол, причём произнес:—Василь?.. как бы таво сево?

— Есть мне когда с тобой раздобаривать! Садись на своё место, да пей водку, вон!—проговорил писарь, указывая рукой на окно.

— О-о! Ах ты, сорока белобока... Та та-та! та-а-та!—Старшина, схватив полуштоф, сел на стул с кожаной подушкой.

— Яким! подай-жось лахань-ту? — сказал старшина мужику, стоявшему у двери.

— Раненько-бы... тово... — начал - было Яким и почесал себе затылок.

— Ну! не тебя—себя угощаю.

Мужичок подал старшине чайную чашку, редьку и солонку.

— Вот!.. и потолкуем тожно... Важно!—произнёс старшина, выпив чашку водки.

Старшина стал закусывать редькой и начал разговор с мужичком насчёт лесу.

— А што-ж, старшина, Яковлеву-то? — спросил писарь.

— Веди!.. Эй, Гаврило, веди Яковлеву! живо веди, чорт те дери! — кричал старшина.

Немного погодя, в большую комнату была введена женщина лет 35. Это была измученная женщина с посинелым лицом, подбитыми

бровями, босая, в изорванном сарафанишке. Всякий поглядел на неё и с состраданием, и с отвращением.

— Што?! опять ты меня в правленье!— кричал её муж, подошедший к ней с кулаками.

— Не трожь!.. Разберём коли, тогда и бей, — унимали мужа крестьяне.

Тот отошёл и начал ругать свою жену. Его кое-как уняли.

Вышедши из присутствия, т.-е. третьей, угловой комнаты, старшина сел на стул у одного стола, крестьяне стали во всю длину стены, женщина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоял за крестьянами.

Старшина встал со стула, подошёл к крестьянам и стал осматривать их: он то поднимался на цыпочки, то заглядывал сбоку, причём голова его с половиною туловища описывала полукруг, что смехило крестьян, которые хихикали.

— Аль Прокопья нет!? Как же это, ребята? — спросоворил вдруг старшина.

— Хотел быть, да видно ногу сломал.

— Ишь ты... А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Ей, ей... в некруты сдам,—проговорил старшина, обращаясь къ молодому крестьянину.

— А ты, Илья Петрович, не раздобаривай, пуцай коли домой,—произнёс кто-то недовольно.

— Пуцу, пуцу!.. А ведь надо бы тово, четвертуху?.. А?.. робя!..

— С Яковлева бери.

— Васюха?! Васька? Ва-сю-ха!!! — прокричал старшина, обратясь к третьей ком-

натке; последнее слово он произнёс по-кошачьи. Народ заговорил, Все роптали на старшину.

— Счастливо оставаться! — сказал вдруг один крестьянин и стал надевать шляпу.

— Стой!!.. Кто выдет — гривна серебра штрафу...—сказал строго старшина.

— Это-то небось помнит, на это трезв...— роптали крестьяне.

— Сичас, робята... Никифор, тащи-ко писаря-то за волосы!—сказал старшина и мигнул одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился сам с пером во рту и какой-то бумагой в руках.

— Подписывай!

— Поди ты от меня! Плевать?!

— Так я печать твою приложу.

— А вот!—и старшина показал писарю здоровый кулак.

Писарь было пошёл, но старшина крепко ухватил его за фалды сюртука.

— Постой-кась... Не уй-дё-ё-шь!! Я... я тебя не пу-щу-у!! Олексейко, говори!

Из толпы выдвинулся муж Дарья и почёсываясь начал рассказывать о поведении своей жены.

— Врёшь! врёшь! — озлобленно говорила Дарья.

— А ты говори дело. Воровала она у тебя?—спросил писарь.

— Перед истинным Богом говорю,—воровала: около трёх палковых унесла... заставь Богу молить...

Женщина поклонилась в ноги старшине и стала выть.

— Ну!.. што кричишь-то!.. А ты, царень,

ноне разбогател тожно. А што ж подать-ту!—спросил старшина Алексея Яковлева.

— Батюшка, Илья Петрович... сколатырил было три цалковых. Ну, думаю, слава Богу, завтра представлю в волостное правленье... Хватъ, она и вытацила... И хоть бы грош!

— Што-о ты?—сказал старшина, растягивая.

— Провалиться, не вру!

— Вася? врёт Олексейко, али нет? по твоему как?

— Конешно, украла.

— А вы, робята?—обратился старшина к народу.

— Известно... нам што...

— Ну, значит, украла, — и конец делу...

— Ну-ко, Дарюха? што ты скажешь, матка-свет?—обратился к обвиненной старшина.

Обвиненная вдруг начала браниться и неизвестно почему назвала и старосту подлецом.

— Постой, постой, сорока! ты скажи, за чем деньги украла?.. А за ругань я ещё взыщу... говори!—крикнул вдруг старшина так громко, что многие вздрогнули.

Дарья ничего не отвечала.

— Писарь!—старшина держал всё ещё писаря за одну только фалду сюртука;—каки твои законы?

— Стегать!—одно.

— Робята, как?—спросил старшина крестьян.

— Мы ништо... Нам што,—проговорили тупо крестьяне.

— Степанко! а Степанко!

Из первой комнаты вошёл тот солдат, который раньше здесь занимался.

— Кашка-то у те есть ли?—спросил его старшина, ухмыляясь.

Оказалось, что всю кашку увёз с собой становой на следствие по какому-то делу, а что веники есть.

— А впрочем, — добавил усердный солдат, — можно виц нарезать и у Хмельниковского дома.

Старшина согласился и послал Степанка за вицами. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будет наказание бабе — тяжкое или лёгкое. Старшина потребовал водки, принесли четверть; несколько крестьян выпили по чайной чашке, только закусить было нечем. Говор усилился. Кажется, все позабыли о происходившей недавно сцене, да и о предстоящей никто не говорил ни слова, только хвалили старшину, вероятно вследствие угощения, что хотя он и пьян, да два угодыя в нём.

Вдруг вбегает Опарина.

Все крестьяне разом смолкли и удивленно смотрели на неё.

— Где старшина?

Внезапно ли наставшая тишина, или громкий голос Опариной заставили старшину выйти в эту комнату.

— Вон, глядите! Опариха!!—кричал старшина, кусая редьку.

— Я давно Опариха... Ох ты, пьяница ты горькая! и какой тебя дурак старостой-ту делал?—кричала Опарина и при последнем слове чувствительно дернула старшину за бороду.

— Нет... ты... па-сто-й,—размахивая рукой, говорил пьяный старшина.

— Моли Бога, што ты пьян, а то я бы тебе глаза выковыряла.

— Ой-ли? выковыряла бы?

— Ну-ко скажи, каков твой суд насчёт Дарьи?

— Стегать...

— Вот тебя бы постегать-то!

Народ захохотал.

— А вы-то што, олухи царя небесного!.. Вы-то што стоите, точно подохлые?.. Для того что ли вас позвали сюда, штобы табачище проклятый курить, да хохотать!.. Ах! глядите, они водку лопают! Ну, и суд!..

— Да мы ништо... Наше дело што? коли бы...—загорлавили крестьяне.

— Вы-то што! Вы и слов сказать хорошенько не умеете!—Потом, обратясь к ошеломлённому старшине, который тупо глядел то на народ, то на неё и почёсывал спину, Опарина крикнула:

— Подавай писаря!

Писарь вышел сам.

— Ты што кричишь-то, калашница? Не твоё дело—пошла вон!

— Как? меня вон?! Да я у самого губернатора была, лично с ним разговаривала, да он и тут не гнал меня. А ты што за фря такая?

— Говорю тебе, пошла вон!—закричал писарь.

— Ан и впрямь здесь кабак, только одного и не достаёт—бочки нет. Поглядите-ка, православные, старшина с писарем лыка не вяжут.

— Ребята, гоните её!—крикнул разозлившийся писарь диким голосом. Но никто не трогался с места, все переглядывались друг с другом, улыбались и шептали: «накась, эво как!». Человека три впрочем делали эти восклицания волух.

— А на столе-то не кабак! Ну-ко, старшина, скажи мне, каков твой суд?

Старшина и писарь не хотели отвечать.

— А вот, подожди, увидишь.

— За вицами Степанко ушёл,—проговорили негромко в толпе.

— И впрямь стегать!?

— И тебя выстегаю!—сказал важно старшина.

— Руки коротки! Дурак ты, дурак! Вот и видно, што своего ума-разума нету... Ты спросил ли муженька-то её, за что он её искалечил? Глядел ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у неё всё искалечено?

При последних словах Опарина подвела к старшине обвинённую и сказала:

— Видишь!

— Так и надо!—проговорил старшина.

— Не твоё дело!—сказал писарь.

— Ах ты, чуча ты эдакая! не по моей ли милости жёнушка-то твоя вылечилась? — сказала писарю Опарина.

— Ну, дак што?

— Дурак, сидел бы уж, лопал водку-то! А вот, поди-ко пиши паспорт Дарюхе.

— Э-э! сорока-то што! А?.. виц несите-ко, робята!—крикнул старшина.

— Это не меня ли уж, ваша милость?—передразнила старшину Опарина.

— Известно.

— Покорно благодарю! — Опарина низко поклонилась старшине, потом обратилась к писарю:

— Ну-ко, скажи, умница: приказано баб стегать?

— Приказано.

— Какки закон?

— С душой и говорить нечего.

— А вот я хоть и дура, а доподлинно знаю, што бабы получили от самого Царя избавление от виц, и ты это должен знать!..

Народ громко захохотал разом.

— А вот попробуем, как не велено,—сказал, смеясь, писарь.

— Нака-сь читай, да вслух!—крикнула Опарина писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь начал было прятать записку в карман пальто, но народ загалдел:

— Читай, читай! Нече прятать-то... Вор!

— От отца Василья записка-то,—сказала Опарина.

— Читай!!—заревел народ и окружил писаря, старшину, обвинённую и Опарину.

«Илья Петрович!»—начал писарь чтение и, пробежав письмо про себя, остановился.

— Читай!!

— Да ничего нет: отец Василий просит выпустить Яковлеву.

— Читай!!!—заревел народ пуще прежнего.

Писарь, видя, что ему отвертеться от чтения нет возможности, и, не находя слов сочинить что-нибудь сию минуту, начал продолжать письмо:

— «Всем уже давно опубликован Царский указ об избавлении женщин от телесного на-

казания, и потому, сожалея о тебе, прошу помнить это на всяком месте, потому что за нарушение этого закона, который должен быть известен писарю...»

— Забыл... кажется, нет... — соврал писарь.

— Читай! читай! нечево...

— «...ты будешь тяжело наказан. Священник Василий Феофилатов».

— Эвона штука-то! Баб не велено стегать! А мы-то што?.. Чудно!—галдели крестьяне, расходясь по юмнате. Все заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не мог понять. Писарь толкнул его в бок.

— Спишь ты!

— Как же... А?.. Указ! А мы тово!..

Писарь увёл старшину в третью комнату и стал что-то шептать ему, но старшина вдруг разразился ругательствами на писаря. Опарина, разговаривавшая с Яковлевым и ругавшая его на чём свет стоит за кражу лошади, вдруг вошла в присутствие, т. е. в третью комнату.

— Ну, што ж вы народ-то маите? Отпускайте бабу-то.

— Да мы ужю... Где же этот закон-от?—ворчал старшина.

— Да што с вами толковать! На вот трёхрублевую, пиши пачпорт: Яковлеву на год во все города,—проговорила Опарина писарю.

Писарь призадумался.

— Три малю, пятитку—и пиши, Василь,—проговорил старшина.

— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевой-ту деньги взялись? Будет с вас и этих—пропьёте,—сказала Опариха.

Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писарем и удивлённые известием об отмене телесного наказания женщинам. Скоро комнаты опустели, только писарь писал паспорт крестьянской жене Яковлевой, а старшина, сидя рядом с Опариной, разговаривал с ней о потовском жеребце, подаренном недавно старостою священнику. Теперь между старшиной и Опариной не было несогласия. Я стоял около Опариной, потому что она рекомендовала меня старшине и писарю за своего хорошего знакомого, приехавшего к ней из города лечиться. Старшина сделался так любезен, что неотступно просил меня выпить водки и прийти к нему завтра откушать, чего Бог послал. Писарь подал старшине паспорт для подписания; старшина кое-как подписал.

— И из-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопочешь-то? Ведь она не исправится,— сказал писарь.

— А постегать надо бы! жалость!..— проговорил со вздохом старшина.

— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мне от неё житья нет: то и дело ругается да баб наших мутит. По её милости мало ли што говорят про меня?.. Ну, а как в город-то свезу и лучше.

— Это истинно!—заклучили старшина и писарь.

Опарина и я распрощались с начальством и вышли. Яковлева сидела на крылечке и, как только увидела Опарину, бросилась ей в ноги.

— Прости ты меня, тётушка Онисимовна... прости-и!—причитала Яковлева.

— Ну, полно, дура. Говорила я тебе: не плюй в колодец, пригодится... Ставай, пойдём ко мне.

Яковлева не знала, что сказать, однако пошла за Опариной.

Дорогой я спросил Опарину: неужели у них всегда такой суд? Она сказала, что в волостном правлении ещё и не то делается: старшина и писарь что захотят, то и делают.

— Ну, да,—прибавила она,—и старшине достаётся. Это в волости-то ничего, терпят, а попадётся пьяный на улице старшина али писарь, так отдубасят!.. Поубавят-таки веку—и по делом! Одново раза даже писаря выстегали, и жаловаться не посмел.

Назначила Опарина отправиться в Т. в субботу утром. Я тоже налаживался с ней, а Яковлеву Опарина отпустила к сестре до субботы. После обеда к Опариной приходила женщина с просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что после завтра отец младенца, кум и кума уедут на покос.

— Я,—говорила женщина,—ходила к нему, да он обещался в воскресенье; да и нам без тебя, тётушка Опарина, нельзя крестить, потому ты принимала.

Вечером Опарина сходила к священнику и получила от него разрешение принести младенца завтра утром в церковь.

Я удивился тому, как Опарина везде успевает, и все её просьбы исполняются.

— Нечего и удивляться тут. Всякий может успеть, коли дело правое и рассудок име-

ет,—отвечала она мне и рассказала, как она раз одного крестьянина от рекрутчины избавила. Дело состояло в том, что у одного старика был сын двадцати двух лет. Были дети у старика и кроме этого сына, но все померли. Сына поставили в очередь, о чём он даже и не знал. Объявили набор и потребовали сына в рекруты. Надо заметить, что старик был слепой, а жена его постоянно хворала, так что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вот Опарина и подала просьбу губернатору, началось дело, освидетельствовали отца и освободили сына от рекрутства, а писаря и старшину предали суду.

В субботу мы, т. е. тётушка Опарина, Яковлева и я, тронулись в путь, но нам пришлось идти, а не ехать, потому что Опарина нагрозила телегу капустой. Но идти всё-таки было весело, потому что Опарина занимала нас смешными анекдотами из деревенской жизни, в роде того, как она вылечила одну бабу от глухоты тем, что поставила бабу под колокол и что при этом у церкви стояли почти все жители села и т. п. Вечером мы пришли в Т. и остановились у её сестры, Катерины.

Эта женщина была вполне торговка; все её манеры и слова изобличали в ней женщину, толкующую постоянно в публике и старающуюся различными способами приобрести себе хоть копейку барыша. У неё была лавочка на рынке, и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дёгтем, орехами, ягодами, пряниками, табаком и т. п. вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имела вид городской; сама

она и муж её, открывший недавно заведение «распивочно и на вынос», принимали нас любезно. Яковлеву муж Катерины обещал посидеть в питейное заведение.

В воскресенье Опарина стояла со своим возом на рынке. Нельзя сказать, чтобы капуста её была самая лучшая, но покупатели были, и она не зазывала их к себе криком, не говорила, что её капуста лучшего сорта, а только заламывала большую цену: за сотню вилок полтора целковых; ей давали восемь гривен и она потом отдавала за рубль.

В полдень я навестил её на рынке и отдал ей три рубля денег.

— И што ты, судырь ты мой! За што это? Будет и рубль.

Я настаивал, чтобы она взяла все деньги, но она дала мне сдачи два рубля и сказала:

— Если считать по-Божески, так дешевле рубля выйдет. Потому двои сутки нужно вычесть: раз ты хворал и не ел,—другой мои твои прибы ели. А што до другога, так я те скажу, моя сестра нахлебника держит за пять рублей в месяц.

Я не стал возражать и простился с ней...

Внес. № 18952

14 30 к.



Рассказы: „Никола Знаменский“ и „Тетушка Опарина“ печатаются по изданию 1869 г.: „Сочинения Ф. М. Решетникова. Очерки, рассказы и сцены. Том второй. Санктпетербург“.

6311

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

П Е Ч А Т А Ю Т С Я

для книжек „народной библиотеки“

СЛЕДУЮЩИЕ СОЧИНЕНИЯ

(ОТДЕЛЬНЫМИ КНИЖКАМИ):

Тургенев, И. С.: 1) Хорь и Калиныч. 2) Олдоворец Овсяников. 3) Бежин луг. 4) Касьян с Красивой Мечи. 5) Бирюк. 6) Смерть. 7) Певцы. 8) Гамлет Щигровского уезда. 9) Чертопханов и Недопюскин. 10) Конеч Чертопханова. 11) Живые мощи.

Гоголь, Н. В.: 1) Старосветские помещики. 2) Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 3) Тарас Бульба. 4) Шинель. 5) Ревизор. 6) Женитьба. 7) Мертвые души. 8) Ночь перед Рождеством. 9) Страшная месть. 10) Ночь на Ивана Купала. 11) Сорочинская ярмарка. 12) Вий. 13) Коляска. Нос.

Лермонтов, М. Ю.: 1) Демон. 2) Мцыри. Валерик. 3) Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. 4) Бела. Максим Максимыч. 5) Тамань. Фаталист. 6) Княжна Мэри. 7) Баллады. Русалка. Ветка Палестины. Бородино. Три пальмы. Воздушный корабль. Спор. Сон. Тамара.

Заказы на «Народную Библиотеку» направлять в Петербург, Фонтанка, 55—Литературно-Издательский Отдел или Фонтанка, 61—Главный Склад Народного Комиссариата по Просвещению.

Пересылка за счет заказчика по действительной стоимости.

Заказы выполняются по получении денежного перевода на всю сумму заказа. Организации и книжные магазины, заказавшие на сумму не менее 100 рублей, пользуются скидкой 15%.

11-я Госуд. тип., Изм. п., 8-я рота, д. 20-б.

